

Жанна Владимировская

ЗАПИСКИ
1994 – 2017

ЗАПИСКИ

Наш дом

Стр. 5

1. Анжелика. Перед Оскарами (22 февраля 2017)
2. Кардиналы
3. Черемуха
4. Диковинный цветок
5. Дуня, я и Эванс
6. Дуня
7. Лай лисицы
8. Печь Франклина
9. Полная луна
10. Георгины
11. Дуня на травке
12. Сойки
13. Сирень
14. Клён и сердце
15. Фил
16. Охота за супер-Луной.

Личное

Стр. 23

1. Новый 2016-й год
2. О нормальности
3. Анонимы
4. БДТ
5. Дорога в Кармел, Индиана
6. Рождество. 26 декабря 2016 г.
7. Чистка
8. Комментарий к песне
9. Отъезд. 1981 (Фрагмент)
10. Пьянство в театре
11. Конец января.
12. Лариса
13. Лебедев. Васса Железнова.
11. Леонардо. Джиневра.
12. Левкои и ГУЛАГ
13. Падуя (Авария)
14. Мальвина и Бах
15. Лебедев (Маяковский) Фрагмент
16. Мидлбург
17. Монастырский. Возврат в Москву.
18. Дима Михайлов. Моцарт
19. «Набрела»
20. Новый дом (Отъезд, собака)
21. Амстердам. Эйнштейн

22. Индейская улыбка.
23. О боли (фрагмент)
24. О спорах
25. Актёрское чтение стихов.
26. Ремарк
27. Ржевские
28. Самара. Ответ Ольге
29. Зингер
30. Тася
31. Спасибо, Дом
32. (Елене Резниковой) Поступление в Школу-Студию.
33. К концу.
34. 26 декабря 2016. Рождество.
35. 11 января 2017. Старый Новый год. Чистка.
36. Лето 2017. Помощь. Врачи, лечение и прочее

Мои спектакли в Москве**Стр. 72**

1. Медея. Токатта
2. Стрижка
3. Маленький Принц
4. Лев Сабинин (Маленький Принц)
5. Робин Гуд
6. Афиша Жана Кокто

Те, кого знала и... не знала**Стр. 79**

1. О Юнне Мориц
2. Анастасия
3. Андрей
4. Бродский и я
5. Чудаков
6. Элендея Проффер
7. Роберт Уилсон и Барышников
8. Полная луна и Гиллельс
9. О Набокове
10. Наташа Горбаневская
11. День Рождения Наташи.
12. Борис Рыжий
13. Рита Райт-Ковалёва
14. Сент-Экзюпери
15. Сара Погреб
16. Саша Годунов
17. Евгений Шифферс
18. Саша Сумеркин
19. В ответ на реакцию в ФБ

20. Высоцкий. Там Вдали.
21. Высоцкий. Там Вдали. Шукшин
22. О Высоцком во французском интервью.

Голос Америки**Стр. 108**

1. 9-е Сентября 2001 года
2. Коржавин и Надежда Мандельштам
3. «Модigliани»
4. Старое Радио
5. Памяти Уилиса Коновера
6. P.S. Уничтожение плёнок
7. Кончина Бродского

Портреты**Стр. 114**

1. Билли Айдол
2. Кабаре
3. Новый альбом Боба Дилана
4. Элла Фитцджералд
5. Джин Харрис
6. Жак Брель
7. Жюльет Греко
8. Кей Ди Лэнг
9. Мерил Стрип

Музеи**Стр. 124**

1. Галерея Филлипса (Площадь Дюпон).
2. Леонардо
3. Национальная галерея
4. Галдиано
5. Сальвадор Дали
6. Внеплановая Испания

Путешествия**Стр. 132**

1. Мадрид. Отель Веллингтон (ФБ)
2. Оазис и карманники
3. Барселона. Пикассо. Мир
4. Референдум в Барселоне
5. Семья Саграда. Собор Гауди
6. Севилья. Любовь с первого взгляда
7. Севилья. Беккер
8. Севилья. Последний день. Фламенко

ЗАПИСКИ

Наш дом

Анжелика. Перед Оскарами

Февраль, 22. 2017.

Два с небольшим года назад, собравшись ехать в наш штатный мультиплекс неподалёку от дома, обнаружили, что его больше нет. То есть, не то чтобы приехали и увидели, что исчез, нет. Просто, раскрыв газету, чтобы уточнить начало сеанса, прочли сообщение, что кинотеатр закрыт. Не на ремонт, а насовсем. Посетовали, почертыхались, поогорчались и – что делать? – начали осваивать новые кинопространства. «С чего бы его стали закрывать, - задалась я однажды вопросом, - и что теперь на его месте?»

Подъехав туда, где стоял кинотеатр, обнаружила, что не только он, но и небольшие домики вокруг уступили место новым современным домам, а потом появился и новый кинотеатр с ласковым именем Анжелика, и стало очевидно, что на наших глазах рождается новый чудо-городок, подчинённый единому архитектурному замыслу людей талантливых и, если уместно употребить это слово, очень доброжелательных и заботливых.

Мы стали наезжать сюда частенько не только посмотреть новый фильм, но просто побродить, поглазеть на витрины или заглянуть в какой-нибудь вновь открытый магазинчик или кафешку. И вот в один из таких заездов, в который раз изумляясь разнообразию открывающихся ресторанов, кафе и забегаловок – вьетнамских, средиземноморских, иранских, китайских, итальянских, французских – я поняла: это место задумано как просторный дом, хозяева которого – радушные, гостеприимные люди, заботящиеся о том, чтобы и живущие в нём, и заглядывающие на часок-другой, чувствовали себя здесь уютно и не скучали.

Что до нас, то всякий раз, когда сюда приезжаем, мы открываем что-то новое. Последнее наше маленькое открытие и большой сюрприз – кафе, где мы, наконец, дорвались до настоящих «наполеонов» (подчёркиваю – настоящих!), напомнивших кондитерские радости Питера в мои студенческие годы.

Минувший уик-энд, который мы провели в Мозаике – так назвали этот миниатюрный рай его создатели – я посмотрела последнюю ленту из своего оscarовского списка, «Лев» (“Lion”), с тем чтобы прийти к воскресной церемонии во всеоружии. И, как всегда, составила свой список прогнозов победителей и собственных фаворитов и фавориток. Прогнозы – говорю не без гордости – почти всегда сбываются. Что не означает, что в списки победителей попадают все мои фавориты. Думаю, так случится и в этот раз. И так как болельщица я отчаянная, готовлюсь встретить вердикт Американской Академии Киноискусства со стойкостью своей французской тёзки Жанны.

Кардиналы

Пожаловалась один раз Алёше, посетовала, вернее: разлюбил нас кардинал и его подружка. Не вздрагивайте. Я пока в своём уме. Речь о птицах: мальчик алого цвета, – отсюда, наверное, и имя его, а девочка, подружка, как ни странно, довольно неказиста.

Поди разбери этих птиц! У людской породы всё ведь ровным счётом наоборот: к скольким уловкам прибегают и сколько изобретательности проявляют женщины, чтобы привлечь внимание особ противоположного пола. А тут – ровным счётом наоборот.

Ну, так вот: кардинальчик, каждой весной появлявшийся у нас в саду и залетавший на террасу, охотно пользуясь нашим корытцем для воды, как и все другие птицы (правда, купающимся ни его, ни её не видали ни разу), вдруг взял и покинул нас.

- Да, нет, - возразил Алексей, - видел парочку раз.

- А что же не сфотографировал?

- Да пугливые они, разве не помнишь: чуть что – и след простыл.

А сегодня – сижу я себе поутру на кухне и попиваю кофеёк, глядь в окно: он, сердечный. Я чуть не взвыла от досады: аппарат у компьютера, нет того, чтоб под рукой держать.

Всё-таки принесла, но его, конечно, и след простыл. Прозевала! Особо не огорчаюсь: всё-таки увидела.

А чуть погода – аж сердце ёкнуло: сидит красавец на краю корытца. И успела-таки щёлкнуть, один кадр удался. И даже вполне ничего себе.

Черёмуха

(Загадка дерева. Почти детектив).

Когда пришла пора «смотреть дома», как говорят в таких случаях, то есть, агенты по недвижимости начинают вам показывать варианты домов, выставленных на продажу (собственно, покупка дома была у нас вынужденным шагом, но об этом как-нибудь в другой раз) – так вот, когда пришла эта пора, мы начали совершать поездки с довольно-таки занудным дядей из русских второй эмиграции по фамилии Герич, и уже через пару ездов я начала понимать, что он – изрядный пройдоха, и ухо с ним нужно держать остро и что главная его задача – сбегать нам дом как можно скорее. Это открытие придало мне силы, и я, если и не перестала чувствовать себя виноватой всякий раз, когда нужно было сказать «нет, дом нам не подходит», то во всяком случае не слишком мучалась.

И вот, в очередной раз машина притормаживает, и я вижу по правую руку такой же, что и другие на улице, по которой мы едем, домик – коробочку, из тех умильных, которые рисуют детишки. Уже готова открыть дверцу, но Герич произносит: «Ещё не приехали». А перед нами – развилка, такая классическая буква V. Но ни направо, ни налево мы не едем, а разворачиваемся на 180 градусов и въезжаем в обнесённую серыми брёвнами внушительных размеров поляну перед таким же, что и направо, домиком. С той лишь разницей, что перед всеми домиками – аккуратненькие прямоугольнички выстриженных газонов, и они почти вплотную прижимаются друг к другу, а здесь – простор, впечатление, что это уже не дом с палисадником, а прямо усадьба какая-то.

По левую руку перед домом вижу могучее дерево, а по правую – стройный ажурный силуэт другого и думаю – неужели берёза? Хмыкаю про себя: это было бы уж совсем как-то... как в кино. Угадать, что на самом деле за дерево с большой вероятностью попадания невозможно: первые числа марта, листвы нет, всё вокруг голо, и мало ли какие деревья растут в этой самой Вирджинии. Вот только высоченные стволы деревьев, обрамляющих дом, никаких разночтений не предполагают: как сказано у МЦ, «на пытке вздыбленные сосны»!

Входим в дом, знакомимся с хозяевами (для меня это было самой мучительной частью процесса), начинаем осмотр. Хозяйка предлагает подняться на второй этаж, а я как-то автоматически выпаливаю: «А что там у вас за дерево огромное»? «Это клён», - слышу. «А вот то, тоненькое, что такое»? – «Берёза». Это ж надо! - думаю. Потом, уже рассмотрев дом, который особой красотой и ухоженностью, говоря мягко, не порадовал, мы рассматриваем и всё, что за домом, backyard что называется (террасы не было, террасу, как и вход в дом, мы построили много лет спустя). Я цежу сквозь зубы Алексею: «Здесь вполне можно выгуливать лошадь». – «Если заведём лошадь», - он в ответ. Пространство и впрямь, даже если не сравнивать со всем тем, что мы видели в других домах, очень внушительное. И тут у меня выскакивает ещё один вопрос: «А сколько, примерно, времени поездки до Голоса займёт»? И – уже совсем нагло – «Мы можем прокатиться»? Герич, видя, что дом меня чем-то зацепил, кивает. Едем. 20 минут. «Ну, как»? - спрашивает. «Надо подумать», - отвечаем. «И что думаешь»? - спрашивает Алёша, когда мы приезжаем к себе. «Если уступят в смысле цены, - говорю, - надо покупать. Что-то мне шепчет, что и развилка, и сосны, и клён, и эта буколическая берёзка – знаки...»

И вот, после серьёзных торгов, начинается процесс оформления кучи бумаг, и мы – где-то посередине между датами нашего отъезда из СССР – 22 марта (день моего рождения, между прочим) и днём, когда мы ступили на американскую землю – 12 июня, становимся 17 мая домовладельцами. А это, уважаемые дамы и господа, дата нашего официального бракосочетания. Ха, ха и ещё раз ха: это ли не знаки? 12-17 -22

Начинаем жить-поживать и потихоньку понимать, что агент наш, быстренько сбавивший нам домишко, нас-таки нажарил, не сделав того, что считается обязательным: не провёл уже при заключении контракта ещё раз проверку. То есть, разбитые стёкла в окнах, подплывший, как выяснилось позднее, при затоплении палас внизу и многое другое мы обнаруживали уже позднее. По правилам, все недостатки должны были устранить хозяева. Неопытность и непрактичность, разумеется, сыграли свою роль. Но они же, в общем-то, и склонили к почти мгновенной покупке, и мы ни разу за тридцать лет об этом не пожалели: нашими усилиями жилище наше превратилось в настоящий дом. А простор вокруг, который и сыграл решающую роль при покупке, стал нам преподносить один за другим сюрпризы. То вдруг цветочки какие-то, крокусы, к примеру, которых не было в первые годы, вырастут, то кустик жимолости, то целая лужайка оранжевых лилий. А потом, совершенно незаметно у бревенчатой ограды появились две шелковицы, метящие летом весь тротуар за оградой чернильными пятнами ягод, словно летопись нашей жизни.

Правда, и мы кое-что добавляли к буйству зелени, вырастающей без нашего участия. Сирень, ёлочка, яблоньки, магнолия, японская вишня и остролист перед домом, да ещё азалии – наших рук дело. И вот однажды...

И вот однажды замечаем мы, что совсем молоденькое деревце, возникшее само собой, зацветает белым цветом: крошечное DOGWOOD, что есть кизилевое дерево. А рядом – ещё две какие-то зелёные малютки, но повыше. Алёша говорит: «Что такое – неизвестно, давай их срежем, будут мешать этой крошке». А я: «Ни за что, дерево есть дерево, это счастье, что они у нас вырастают и вырастают. Будут мешать, подрежем слегка ветки по бокам». На том и порешили.

Через пару годков малютка живёт себе и цветёт, хотя вверх особенно не тянется, а тоненькие прутики превращаются в огромные – не преувеличиваю! –раскидистые деревья. И ещё одно, такое же, но чуть позже, вырастает у меня под окном рядом с сосной. В

прошлом году замечаю – мы как раз уезжали «в гастроль» – два дерева цветут вроде бы. «Что это такое могло бы быть?» - спрашиваю. «Приедем – разберёмся», - говорит Алёша. Но по приезде загадочных серёжек и след простыл. Так что в воздухе повисла тайна. А в этом году, открываю окно, в которое уже буквально просятся внутрь ветки третьего безымянного дерева и вижу на нём серёжки, да такие мохнатенькие, да такие хорошенькие!

Выхожу на улицу и ахаю: оба дерева, что рядом с догвудом – буквально взрываются белыми гроздьями. Зову Алёшу. «Слушай, - говорю, - А может это черёмуха?» - «Нет, - уверенно и твёрдо говорит Алексей, - какая черёмуха? Черёмуха – это же кусты!» Эксперт хренов. Как и я, впрочем – тоже большая специалистка. Но всё-таки робко возражаю: «Как же? Я вот когда собирала картинки для видео к нашей песне, нашла именно что деревья». - «Но маленькие же?» - стоит на своём Алексей. – «Маленькие», - соглашаюсь. А эти и впрямь метров так восемь точно. «Ну, какое это имеет значение, - говорит, - главное, что красиво, так ведь?» И тут я вхожу в ступор сопротивления и заявляю: «Для чего нам слова даны, ёлки-моталки? Не назвать эту красоту, вернее, не знать её имя – это позор. Иду за ножницами, срезаю ветку, сажусь в машину и качу в садоводство. Благо дело от нас – рукой подать, пять минут езды.

Приезжаю. Идёт навстречу паренёк, вижу – из местных. Достая веточку из сумы: «Что это за дерево, не скажете?» Он смущённо объясняет: «Я тут на подсобных работах, вам нужно вот туда, в здание, там есть специальная Plant clinic». («Клиника растений», дословно)

Вхожу. Ещё один парень навстречу. Опять осечка. «Я не разбираюсь, но сейчас найду специалиста». Идёт. Я трусцой за ним: «Мне с вами идти?» - «Да, да», - говорит. Он галопом, я пыхчу следом, солнце лупит изо всех сил, куда, думаю, ведёшь меня, Сусанин, еле поспеваю, хорошо, что кроссовки обула. Он по пейджеру, матюгальничку такому, ведёт переговоры, вызывает на свидание эксперта. По обе стороны аллеи, по которой несёмся и которой не видно конца – гигантские саженцы всех мыслимых и немыслимых видов деревьев. Наконец, навстречу – здоровенный красавец. Мой проводник разворачивается и идёт в обратном направлении, и я понимаю, что этот гренадёр и есть специалист. Протягиваю веточку. Задумывается. Качает головой и произносит: «Нет, такого я никогда не видел. Вам всё-таки надо в клинику». (Я, про себя: ещё одна такая рекомендация и мне и впрямь надо будет в клинику, только уже в другую) Вслух: «Так я же вот как раз оттуда и пришла к вам с провожатым?» «Он там работает, но он не врач, - шутит красавец, - даже не фельдшер, так что уж извините, что пришлось столько идти».

Возвращаюсь. И уже при подходе к барьерчику типа кафедры под надписью «Клиника» вижу за ним пожилого солидного дядечку, который очень громко втолковывает что-то стоящей перед ним особе. Заметил меня, вижу, что появление ещё одной слушательницы его вдохновило: слегка красуется, работая на публику. Ну, думаю, так скоро это не закончится. Однако, через пару минут понимаю, что красоваться-то он красуется, но объясняет всё очень толково: даже я, полный профан, понимаю, что нужно сделать, чтобы кусты, по поводу которых тётка консультируется и которые возлежат на барьерчике, росли большими и здоровыми. Переспрашивает, однако. Он начинает всё по новой, а я всеми силами стараюсь не обнаружить нетерпения, чтобы, не дай Бог, не вызвать у него раздражения.

Подходит ещё одна женщина с пожухшим кустищем в руках. Улыбается мне и, уловив, наверное, какое-то нетерпения в моей позе, спрашивает тихонько: «Долго стоите»? Киваю: «Десять минут уже». Вздыхает. Улыбается. Ждём.

А эксперт очередную инструкцию начинает идиотской фразой: «Что бы я хотел, чтобы вы сделали? Во-первых, я хотел бы...» и опять по новой... И тут тётка, как бы внезапно нас замечая, произносит. «О!» Типа, я и не знала, что тут ещё кто-то ждёт. Однако, не отходит и задаёт уж совсем дурацкий вопрос. Может, ей поговорить дома не с кем, думаю. Может, это её золотой час?

Но тут уж и дядечка вот-вот, вижу, взорвётся: отвечает коротко, явно давая понять, что больше к сказанному прибавить нечего. И – ко мне: «А у вас что»? И я протягиваю ему роковую, всю в серёжках веточку и задаю всё тот же сакраментальный вопрос: «Что это за дерево»? Нет, это надо было видеть... Только что демонстрировавший свои несомненные познания человек, понимает, что вот сейчас он публично признается в том, что не такой уж он всезнающий и всеведущий эксперт. Крутит в руках, пыхтит, опять крутит и, наконец, произносит: «Нет, такого не встречал». И, оборачиваясь, окликает другого помоложе. Тот подходит, смотрит на ветку и сходу произносит незнакомое мне слово. Улавливаю только вторую его часть cherry, то есть, вишня. А дядька мой тем временем, бубня себе под нос название, достаёт и начинает листать толстенный гроссбух. Наконец, находит искомое, тычет пальцем в страницу и разворачивает книгу передо мной. «Это»? - спрашивает. – «Нет, говорю, не это. Цветы не такие, и наше огромное и раскидистое, а это – приземистое и невысокое. Недовольно хмыкает. Продолжает поиск. «А это»? И вижу, что вроде – то. Не совсем то, но похоже, а он уж, вижу, злится: эксперт, а не знает! Читаю. Amur Chokecherry или Manchurian Cherry Rose family. Понимаю, что что-то амурское, как-то даже нравится, что амурское, а второе – манчжурская вишня, семейство Розы, тоже красиво. Вариантов не предлагается. С тем и возвращаюсь домой.

И, войдя в дом, сильно измочаленная, провозглашаю: «У нас что-то выросло амурское или манчжурское!» «Которое на сопках, в смысле»? - спрашивает Алёша. «Ну, может и то самое, но мне что-то не верится», - говорю. - Пойду в Гугл. По крайней мере есть откуда начинать поиск».

И вот начинает мне Гугл выдавать картиночки и одна из них – точно наше дерево. Читаю: Virginia chokecherry. И тут меня озаряет: что же я всё вишня да вишня, это же только часть слова, а всё слово-то – что такое? Открываю словарь и – подпрыгиваю с воплем: «Черёмуха, чёрт подери! Че-рё-му-ха, Вирджинская. Которую никто в садоводстве в глаза не видывал, которой ни разу мы в нашей округе не встречали, и которая не просто выросла у нас сама собой, но буквально затопила всё перед домом своей победной зеленью!» И, вслед за этим – Алёше: «Слушай, ну, что-то это должно значить? Ну, чтоб ниоткуда и не что-нибудь, а именно черёмуха?»

- Ну, ты же веришь в силу слова, так? - Алексей в ответ.

- Верю, - говорю, ещё не понимая, к чему он клонит и подозревая, что разыгрывает.

- Всё просто: пела ты пела песню, потом мы её записывали, так? Потом ты искала картиночки чтобы сделать видео, так? Потом мы сидели и делали видео, так? А она – всё звучала и звучала! И не день и не два. Так? Ну, вот и вызвала к жизни...

- Красиво, говорю. Но неправда... Раста начала пару лет назад, песенку записывали полгода тому, когда она уже была. Нестыковочка получается.

- Тогда, - говорит, - наоборот. Она росла и хотела быть названной. Вот ты и отыскала стишок, а я музыку сочинил и теперь – полная гармония: и песенка есть, и черёмуха зацвела в ответ».

Ну, ладно. Такой вариант ещё куда ни шло...

P.S.

И –к вопросу о словах и мыслях, которые, даже не будучи высказанными, иногда всё-таки овеществляются. Берёзка – та, о которой подумала: ну, это уж слишком, прямо как в кино... берёзка пропала. Уезжали как-то надолго, лето выдалось засушливое, она и приказала долго жить. Спасти не удалось. Уж если не склонен к штампам, что в жизни, что на сцене, то и окружение, видимо, как-то начинает соответствовать. Правда, на следующий год на месте, где росла берёзка, ирис появился. А сейчас их целая стая. Белых. Царственных. Поди разберись...

Диковинный цветок (Corpse flower)

Диковинный цветок Titan arum (титан арум) или *Amorphophallus titanum* (аморфофаллус, в соответствии с фаллической формой цветка), по праву считается чудом природы. Цветёт он нечасто: один раз в три года, а то и в пять или даже семь лет. Я бы назвала этот арум цветком саспенса, ибо никто не-зна-ет, когда он соизволит явить миру свою диковинную красу.

В этом году арум произвёл настоящую сенсацию, расцветая почти одновременно в трёх ботанических садах Восточного побережья. Первым он раскрылся в Бронксе, что само по себе было сенсацией, ибо в последний раз он цвёл здесь в 39 году прошлого столетия. Вслед за этим целых два цветка Titan arum раскрылись в ботаническом саду в Сарасоте. Первый, названный Сеймуром, раскрылся 22 августа, цветение второго – Одри, совпало с цветением нашего вашингтонского гиганта, названного ласково Шарлоттой.

Кстати, оба имени сарасотские красавцы заимствовали у цветов-людоедов из культового мюзикла «Маленькая лавка ужасов». Служители нашего Ботанического сада ждали, по их собственным словам, момента, когда цветок раскроется наподобие зонтика, обнажив свою гигантскую сердцевину, так же трепетно, как ждут на свет появления долгожданного младенца или как в нашем Зоопарке – детёныша гигантской панды.

В дни, предшествовавшие этому моменту Ботанический сад продлил часы работы до восьми вечера, а во вторник, в виду неслыханного притока желающих зреть это чудо, был открыт до одиннадцати ночи. Одна из особенностей его цветения: неслыханно неприятный и, я бы даже сказала – отвратительный запах, которым сам он, судя по всему, весьма гордится. Перед тем как раскрыться, арум «разогревает» свою сердцевину чуть ли не до сорока градусов, с тем чтобы «насладиться» можно было на изрядном расстоянии.

Этот запах дал растению одно из его самых нелестных прозвищ: The corpse flower или Трупный Цветок (напоминает запах долго не опорожнявшейся помойки, разлагающегося мяса, тухлых яиц и пр.) На этот раз цветок превзошёл себя, достигнув высоты двух с лишним метров. И вот сижу и думаю: не похоже, чтобы Создателя занимала идея целесообразности. Семь лет арум трудится над тем, чтобы явить нам свою экзотическую красоту, поразить контрастом красоты и запаха и, прожив всего два, от силы три дня увянуть...

«...не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,

то цель – не мы»
И. Б.

Дуня, я и – Эванс

Зима, 2016 год. Мой диалог с любимой Дуней сопровождается интерпретация Биллом Эвансом песни Мишеля Леграна What are you doing the rest of your life?

Хотя диалог Алёша записывал, он по таинственной причине не записался. Думаю, что так было нужно: не всё личное может и должно стать достоянием публики. Дуня в этот день претендовала на моё внимание с особым упорством, и из студии, где мы записывали стихи Рыжего, и где обычно она ведёт себя очень прилично, пришлось девочку выдворить. Объяснение и примирение последовали позднее. А слова в песне такие:

Что делаешь ты в оставшейся жизни,
на Севере её и Юге,
на Западе и на Востоке?
Одна лишь просьба у меня к тебе:
её остаток, весь, со мною провести.

What are you doing the rest of your life?
North and South and
East and West of your life?
I have only one request of your
That you spend it all with me ...

Дуня

Кошки... Я их боялась. Но это был не обычный страх. Это был какой-то первобытный, утробный ужас, поднимавшийся из глубин подсознания. От него цепенели конечности и мозг словно подёргивался пеленой. Так бывает во сне, когда, чтобы спастись, нужно бежать без оглядки, и ты совершаешь лихорадочные усилия и не можешь сдвинуться с места.

Наверное, слышанные мной в детстве рассказы о какой-то жуткой банде, орудующей в городе под именем «Чёрная кошка» (кошка, заметьте, не кот!), сыграли какую-то роль. У двери раздаётся жалобное мяуканье, доверчивые хозяева открывают дверь, и тут-то на них и нападают бандиты – дальше шли красочные рассказы о том, что они проделывают с жертвами. Детишки постарше, рассказывая, изощрялись в деталях каждый на свой лад, и малышня, хоть и повизгивала от ужаса, требовала продолжения.

Слушала я эти рассказы в ту пору, когда наша семья жила в Одессе, и я захаживала в гости к маминим друзьям, дяде Володе и тётке Рае, за книжной поживой: он работал в типографии, и все самые драгоценные книги я получала в подарок из его рук. Жили они в доме с внутренним двором, на который выходили шедшие по периметру балконы, точнее

– перегороженная на балконы галерея: отсюда обитатели обменивались через весь двор последними новостями, громкими репликами и солёными шуточками.

Недолгий одесский период жизни остался в памяти радостями поездок на Большой Фонтан, в Аркадию, праздничной суматохой Привоза, сражениями «двор на двор» с применением порой первобытных подручных средств типа булыжников, первым в жизни оперным потрясением и сохранившейся на всю жизнь любовью к опере (давали «Паяцы» и «Сельскую честь»). Но главное – лицами шумных и весёлых родительских друзей, всей атмосферой бьющего через край веселья – вопреки всему.

А страшилки, похоже, начисто испарились из памяти. Пока однажды, уже во вполне зрелом возрасте, я пришла в Питере в гости к подруге, и навстречу мне вышел каких-то невероятных размеров кот. Думаю, я была близка к потере сознания, потому что она бросилась ко мне с воплем «Жак, что с тобой»? А я беззвучно взмолилась: «Убери его». – «Это она», - возразила подруга ободряюще и тут же, поняв нелепость своей реплики, начала истерически хохотать. «Ты что, кошек, что ли, боишься»? А я всё продолжала умоляюще указывать рукой на бедное создание.

И после этого случая как раз и сложилась эта формула: кошек боюсь, с кошками дела не имею, в объяснения на эту тему не вступаю. Иногда, правда, когда в компаниях заходил разговор о предпочтениях: кошки или собаки, я коротко говорила: «Обожаю собак, любых». – «А кошек»? – «А кошек – с извиняющейся интонацией – кошек как-то опасаясь». На вопросы «почему» отвечала – «Не знаю. Опасаюсь и всё тут»!

Но, разбираясь наедине с собой, я понимала, что дело всё-таки не в услышанных в детстве рассказах, а именно в том чувстве, которое у меня возникало от встречи с кошачьим взглядом. Мучительная в нём загадка, тайна... «Атавизм, - говорила я себе. - Воспоминания из каких-то первобытных времён».

Могла ли я предположить, что в жизнь мою войдёт кошачье существо, любовь к которому хоть и не отменит некоторой опаски в отношении к кошачьей породе, но сильно поколеблет? Но – по порядку...

Однажды тихим осенним вечером, когда прохлада начала уже вытеснять долго не сдававшийся летний зной, получив отказ на предложение пройтись, я гордо отправилась одна где-то в двенадцатом часу ночи. Это и определило дальнейший ход событий: вместо обычного квадрата, по кварталу на каждую сторону, я прогулку удлинила, выйдя на параллельную нашей улице через два.

И вот, едва свернув, я услышала жалобный детский плач. Именно жалобный, а не тот, который может вызвать раздражение даже у людей с ангельским характером. Однако, сделав ещё несколько шагов, я поняла, что, скорее всего, эти звуки издаёт кошка, и уже через пару метров я и впрямь начала различать её силуэт.

Признаваться, конечно, в том, что я сделала в следующую секунду, стыдно, но, коль взялась рассказывать, не могу упустить этой подробности. Остановившись на секунду и пошарив вокруг глазами, я увидела довольно внушительных размеров ветку и, подняв её (на всякий случай, мало ли что! - сказала я себе), пошла вперёд. Когда расстояние между нами сильно сократилось, она (думала именно так: она!) двинулась в мою сторону, и я уже вполне чётко могла её видеть. Светло было не так чтобы, как днём, но вполне: фонари у нас стоят вдоль улицы довольно частые да к тому же и вызвездило той ночью изрядно. И вот она идёт откровенно в мою сторону, а я начинаю осторожненько так взывать к ней: «Кошка, прошу тебя, не подходи!», и потихоньку забираю правее, чтобы перейти на другую сторону. Она – за мной. Останавливаюсь и,

стараясь придать своему голосу твёрдость, говорю: «Слушай, я тебя боюсь, пожалуйста, не подходи ко мне!» И она, будто поняв, о чём я её прошу или услышав в моём голосе угрозу, садится и начинает плакать снова.

Я, ободренная этой паузой, начинаю не то чтобы решительно, но двигаться вперёд, она – за мной, и я почти кричу: «Отстань от меня!» – и поворачиваю за угол.

Оглядываюсь: кошки нет, но к дому уже не иду, а почти бегу. На вопрос Алёши – что со мной, когда, запыхавшись, вошла в дом, говорю: «Сейчас. Дай отдышаться. Расскажу».

Рассказываю, на подначивания и шуточки по поводу моей беспримерной отваги никак не реагирую и, закончив рассказ, начисто о случившемся забываю.

Через два дня, утром, Алёша, попыхивавший на террасе трубочкой, заглядывает и говорит. «Слушай, тут кошка сидит, не уходит, по-моему, голодная. Что делать?» – «Что делать? Дать поесть», - говорю. Но когда Алёша выходит на террасу с едой, кошки уже и след простыл.

Вечером этого же дня полёживаю я в комнате, примыкающей к террасе, застеклённая дверь открыта, и вдруг в мою сторону что-то метнулось, что-то тяжёлое на меня опускается и прямо перед собой я вижу какой-то невероятной величины, как показалось в тот момент, два зелёных глаза. А вдоль меня, то есть от подбородка до того места, откуда растут ноги, лежит нечто, и я не просто цепенею: у меня буквально отнимаются от ужаса руки и ноги! О том, чтобы пошевелиться, не может быть и речи, а оно – вот это, лежащее на мне существо, начинает издавать звуки, которые опознаю как мурлыканье. Однако, ничего особо дружеского в нём не нахожу: такое впечатление, что она меня заговаривает.

Начинаю выдавливать из себя, не открывая рта, крик о помощи – вот когда поняла, что такое чревовещание! То есть, издаю не крик, а скорее утробное мычание: «Алёша, Алёша!» Но ясно, что услышать меня нельзя. Это не крик и не писк, а просто жалобный стон. А существо устраивается поудобнее и начинает глаза прикрывать. Господи, думаю, я же сейчас, если не появится Алексей, отдам концы. И тут раздаётся его почти вопль: «Что это»?! Это пришла очередь Алексею застыть на пороге, а кошка каким-то молниеносным движением с меня соскакивает, и я даже не успеваю заметить, куда она метнулась. «Как это случилось?» - спрашивает пришедший в себя Алексей? – «Как? - говорю. - Я не знаю, как. Она на меня прыгнула, свалилась, улеглась как на какой-то предмет, дай мне воды, у меня ноги, по-моему, отнялись».

Заходим в кухню, и только я открываю рот, чтобы сказать: хорошо, что ты увидел, а то я решила бы, что у меня была галлюцинация: пришла, полежала, исчезла! – и в этот момент пришелица выходит из соседней комнаты, усаживается прямо посреди кухни и издаёт звук типа – Привет! То есть, что-то односложное. И смотрит на нас выжидательно. А мы на неё – совершенно оторопело. Не дождавшись ответа, она начинает мяукать и так жалобно, и так знакомо, что я понимаю, что это та самая кошка, от которой я убежала два дня назад. «Слушай, - произношу вслух, ещё до конца не осознав всю невероятность случившегося, - это она, та самая. Та была вот именно такой, разноцветной. И – голос!» – «Голос»? - переспрашивает Алёша, глядя на меня как на сумасшедшую, - У кошки – голос?» – «А что у неё, по-твоему? Именно голос! А я, как ты знаешь, ни голосов, ни лиц не забываю»!

И вот, продолжая вслух обсуждать невероятность случившегося, ставим тарелочку с едой, и кошечка начинает сосредоточенно её уминать. А насытившись, и не думает

отправляться к выходу, а начинает спокойно двигать в противоположном от него направлении. Как потом шутя говорили – осматривать жилище. Я, всё ещё не вполне придя в себя, набираю номер Шерон, нашей американской приятельницы, заядлой кошатницы, Шурочка вскрикивает и ахает по ходу рассказа, а потом дрожащим голосом, исполненным благоговения, говорит почти молитвенно и по складам: «Жанна – она – тебя – выбрала». – «Что?» - переспрашиваю. – «Выбрала, - повторяет Шурочка. - Она пришла к тебе. Это к счастью, Жанна!»

Вопроса о том, собираемся ли мы её принимать на жительство даже не задаёт, а снабжает парой практических рекомендаций. Алёша быстренько притаскивает из сарая песок, устраивая в картонной коробке временный туалет, и мы решаем, что, как бы то ни было, выбрала - не выбрала, а завтра отправляемся на поиски хозяев.

Где наша гостыя спала в первую ночь, мы так и не поняли. Хотя было ясно, что дом она не покидала. А я, грешным делом, втайне надеялась, что эпизод исчерпан, что кошка ушла. Однако утром она степенно явилась на кухню и уселась в ожидании еды. Не просила. Просто смотрела на меня. Через пару часов я услышала наверху вопль захавшей к нам Настеньки: «Мама»!

Сбегаю и вижу Настю, которая, указывая рукой на кошку, спрашивает: «Что это»? На этот, вполне идиотский вопрос я отвечаю такой же идиотской фразой: «Это кошка». – «Кошка? У тебя?» – «Не у меня, а чужая, пришедшая, оголодавшая. Не выгонять же её было! Сегодня идём разыскивать хозяев».

Поиски хозяев длились ещё двое суток, и всё это время, уже вполне освоившееся в доме создание (Настя деловито определила, что – да, и впрямь кошка, не кот, кошка ходила за мной по пятам, словно чуя, что мы строим недобрые планы по её выдворению.

На третий день, чуть было не грохнувшись наземь из-за того, что она каким-то образом оказалось у меня между ног, я в сердцах заорала: «Дуня, ты что, с ума сошла? Ты же меня убьёшь так!» Кошка испугалась крика, шуганула прочь, мне стало стыдно, а Алёша изрёк: «Дуня, стало быть. Её зовут Дуня. Имя найдено!»

Это был день, когда кошка стала нашей. А вслед за этим началась история узнавания и любви, которая день ото дня крепла, и мы, что ни день, дивились тому, что за благородное, нежное, деликатное, понимающее и на удивление общительно создание поселилось у нас в доме и наших сердцах.

Люблю ли я кошек? Боюсь ли я их? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я знакома только с одной. Единственной. Представить свою жизнь без неё не могу, и время от времени, иногда и вслух, благодарю небеса за этот бесценный подарок. И – да, смейтесь-не смейтесь, я с ней время от времени веду разговор по душам, и она – внимает.

А внимательного слушателя, согласитесь, не так уж часто удаётся повстречать на жизненном пути! И – любимого и любящего к тому же...

Лай лисицы

Крик был коротким и истошным. Поначалу показалось – зовут на помощь. Странно упало сердце, но тут же отпустило. Нервы, подумала я. Два минувших дня были тревожными, измаялась, вот и чудится. Но через пару минут крик повторился, и я усмехнулась: «Вот тебе и наша идиллическая округа – похоже на какую-то дикую драку». А вслед за этим – вдруг и впрямь кого-то избивают?

«Разбужу Алёшу, - решила, - пойдём вдвоём на звук выяснять. В случае чего – позвоним в полицию».

Всё смолкло, однако, но привкус тревоги ещё долго не покидал. Через пару дней сижу наверху, слушаю музыку. Входит Алёша: «Слышала»? - говорит. – «Что»? - спрашиваю. – «Лай. Останови на секунду диск». Останавливаю, хоть и удивляюсь – что странного в собачьем лае?

«Слышишь»? Прислушиваюсь и узнаю тот самый крик, так всполошивший пару дней назад. «Лисы, - объясняет. - Это лисы». – «Кричат лисы»? – переспрашиваю, - У нас водятся лисы»? – «Ещё как! –говорит. - Я видел пару раз. И Настя видела. И даже днём. И не кричат. Это они так лают». – «А с чего они разлаялись? Погода, что ль, сбита с толку, решили – весна»? – «Чего не знаю – того не знаю, - отвечает. - Всё может быть».

Так и запомнила этот последний день в преддверьи Старого Нового года! Среда. 13 января. Свинцовое небо дурных вестей. Тревожный закат. Лунный диск за полумесяцем и так похожий на человеческий крик, лисий лай... Правда, ночью, вспомнив из бывшего опыта, что лимонный ломтик, посыпанный сахаром – прекрасная закуска, проводили этот самый Старый кальвадосом. Чуть-чуть. По глоточку.

На следующий день нужно было рано вставать, а впереди маячили трудные дни. Как в хорошем анекдоте о заключённом, которому в понедельник сообщают, что сегодня – время его казни. «Ни хрена себе неделька начинается!» - шутит он. «Ни хрена себе начинается год», - вторю я. Но – високосный! Что тут поделаешь? Не уйти от страшной погони.

Печь Франклина

День рождения Джорджа Вашингтона, первого президента Соединённых Штатов, празднуется в третий понедельник февраля. Праздник называется Днём Президентов, так как в этот день чествуются не только день рождения Перового президента нашей страны, и Авраама Линкольна, тоже родившегося в феврале, но и всех остальных президентов.

Так случилось, что в этом году на уме у меня – Бенджамен Франклин, один из Отцов Основателей, авторов Декларации Независимости и Конституции Соединённых Штатов, шестой президент Страны.

Его имя носит печь, которую в эту зиму пришлось затопить во второй раз: ветер разбушевался с такой силой, что дом, того и гляди, поднимется в небеса, и обычного тепла нехватает.

А мы и радуемся: с Франклином внизу делается очень весело. Да, почему Франклин... Дело в том, что он – изобретатель этой самой печки. В XVIII веке дома в основном обогревали каминами. Помимо того, что они нещадно дымили, они ещё были очень неэкономичны: по сути, всё тепло уходило, что называется, в трубу, а искры порой были и причиной пожаров.

Печь, сконструированная Франклином, давала не только больше тепла, но и была куда более экономичной: дров уходило на четверть меньше, а тепла она давала вдвое больше, Франклину было предложено запатентовать свой дизайн, однако делать это он категорически отказался: «Награда мне, - сказал он, - та польза, которую она принесёт людям»!

Франклин, ты не только греешь и радуешь глаз, но таки жжёшь своим благородством...

Полная Луна

Победа над ленью иногда приносит приятнейшие сюрпризы.

Дождавшись времени, когда жара начала спадать, в одиннадцатом часу ночи, вышла подышать и ахнула: небо чистое, вывездило, и над домами, ну прямо над головой – огромная луна в немыслимой красоты облачном ореоле.

«Слушай, - говорю Алёше, - может, это не просто полнолуние, а супер-луна? Уж очень она какая-то невероятная?» – «Всё может быть», - говорит.

И тут, словно чтобы придать картине большую выразительность, небо осветилось на секунду мощным всполохом молнии. Сейчас грохнет! - думаю. (Грозы боюсь). Но нет, грома слышно не было, а молнии сверкали всю дорогу.

Придя домой, решила навести справки: супер-луние или нет? И выяснила, что луна, хоть не из категории супер, но зато у неё, у июльской, есть несколько имён: Full Buck Moon – Оленьё полнолуние, время, когда олени-самцы начинают отращивать рога. Второе имя Full Thunder Moon – Полнолуние гроз.

Сейчас, когда пишу, за окном уже вовсю грохочет. И, как выяснила, в июле в Северном полушарии, это для июля – норма. И, наконец, третье: Full Hay Moon – Полнолуние сенокоса. В июле фермеры начинают делать заготовки сена на зиму.

Помню, как меня поразили и умилили эти аккуратнейшие ролики на полях во время наших путешествий по стране.

Ну, вот на часах почти полночь. Полнолуние у меня – время бессонницы. Запаслась новым детективом Силвы “Black widow”. Всё одно к одному: и полнолуние, и грозовая ночь, и – «Чёрная вдова...».

Георгины

(16 ноября, 2014)

Садовница из меня, скажем прямо, фиговая и, к тому же – малоинициативная. Но иногда вдруг возникает непреодолимое желание увидеть в своём саде-огороде что-то из прошлого. Ну, типа – втемяшется.

И этой весной, вдруг: георгин мне подать. Правда, может не совсем вдруг... Как раз слушала Билли Холидэй, а она любила белый георгин прикалывать к волосам. И он, видно, засел в памяти и всплыл уже в виде воспоминаний о жизни с родителями и, соответственно, о разных цветочных радостях...

Кстати, эти воспоминания подвигли меня пару лет назад на посадку куста сирени. Но сирени здесь в округе много, а георгинов не видала, клянусь, ни разу.

Поехала в садоводство, брожу по рядам, ничего похожего и вдруг – прямо в сердце удар: горделивый и нежный одновременно цветок на крошечном кустике... «Неужели он? - думаю, - Такого цвета в прошлой жизни не встречалось!»! Читаю – точно.

Приехала, сама ямочку копать стала, потом на помощь Алёша подоспел. Словом, обустроила георгинчик, хожу и люблюсь. Но музыка играла недолго. Отцвёл и замер. Как

и не было его. Правда, обратила внимание, что рядом кустик пробился, вроде тоже георгинный.

Но лето прошло, уже и осень на дворе, о георгинах и не помышляю. И вот в конце октября иду к машине, опять подхожу, уже почти потеряв надежду, к кусту своему и вижу что-то на нём крохотное и невзрачное торчит. Неужели, думаю, услышал мои взывания? А я и впрямь, время от времени, подходила и смотрела на кустик с досадой. И в тайной надежде – а вдруг? Даже бормотала ему что-то.

Ну, уехала из дому, вернулась, фитюлька эта на месте, на цветок не похожа, да и на бутон, из тех, которые приходилось видеть, тоже. А погода, тем временем, всё меньше располагает к тому, чтобы что-то цвело и, тем более – расцветало.

И вот через два денёчка выходит поутру Алёша за газетой и говорит: «Иди посмотри, как там у тебя дела на клумбе. Иди-иди, что смотришь на меня – на клумбу сходи посмотри, садовница»!

Подхожу – и георгинчик мой смотрит на меня во всей своей розово-сиреновой красе, прямо расцеловать захотелось... Вернулась в дом, читаю газету – сводка погоды угрожающая. Ну, думаю, хоть пару деньков продержится, и то ладно. Лукавлю слегка, конечно, и начинаю подколдовывать и уговаривать светило наше: к чёрту прогнозы, ещё немножко, мол, погрей.

Смешно сказать «выпросила», но солнечные дни вернулись-таки, и через пару дней увидела на кустике рядом явные признаки того, что и он готов разродиться цветочком. А потом ещё один и ещё... И такое это странное зрелище: всё вокруг покрыто опавшими листьями, уже и деревья стоят почти голенькие, а эти, наперекор всему, вздумали жить.

Вот только первый георгинчик начинает сдавать потихоньку, дурнеет и желтеет. Но уже ноябрь, как-никак, и он уже – в возрасте, третья неделя пошла, удивляться не приходится.

А всё же удивил-таки напоследок: ещё один цветочек подарил. А пару дней назад заветрило, по-настоящему стало холодать, дай, думаю, сфотографирую ещё разок, кто знает, сколько ещё продержатся. И вот сегодня вышла поутру: и всё – красавчиков моих нет. Вот так и мы, скажу я вам: сражайся-не сражайся, а *memento mori*. Таков закон...

Дуня на травке

Сижу себе, как какая-то старосветская помещица, на террасе: солнышко припекает, в дом заходить неохота. Сижу и умиляюсь тому, как тихо планируют листья нашей стоической липы – единственного дерева рядом, упорно не желающего сбрасывать летний прикид. День безветренный, и они совершают какие-то немислимо-замысловатые траектории, прежде чем спланировать на террасу. Сижу, предаюсь блаженной лени, и даже дым от трубки пыхтящего неподалёку Алёши не вызывает никаких возражений: у каждого свой кайф.

И тут слышу под дверь жалобные призывы Дуни. Надо вывести погулять, думаю, и только приоткрываю дверь, а она – шмыг, и была такова и движется в сторону калитки.

В этой ситуации – главное не спугнуть, подойти беззвучно и как бы безразлично и незаинтересованно, что я и делаю, беру на руки и, в ответ на её попытки вырваться, уговариваю: «Дунечка, красавица, не рвись! Сейчас дойдём до хорошей травки, и налагомишься всласть».

Одну я её никогда не оставляю – над нашим местечком ястребы кружат.

Кричу, как некий всадник королевских кровей – «Коня, полцарства за коня» – «Аппарат, Алёша, аппарат, это нельзя пропустить!» Ну и, заполучив аппарат, провожу фотосессию.

Модель Дуня превосходная: всё внимание – в процессе, полное публичное одиночество (актёрам бы так!), и на меня тоже – ноль внимания, хотя стою буквально рядом. В результате – все друг другом довольны: Дуня насытилась травкой, я нащёлкала десятки снимочков. Несколько отобрала.

По какой-то неведомой причине – видать, впопыхах на что-то не то нажала, внизу не только день, но и время съёмки. Я даже рада: сегодня всерьёз задождило. Похоже, что мы начали настраиваться на Рождество, пусть ещё не снег, но, по крайней мере, не 20 градусов тепла. Воистину: куй железо, пока горячо...

Сойки

Говорила я, что у нас в округе несметное количество разноголосых птиц?

Вот и пересмешник удостоил чести: поселился прошлой очень в кусте бересклета.

А это вам не жук начхал.

Но вот среди этого волшебного хора раздаются порой какие-то, ну просто жутко неприятные крики. Не какое-то воронье карр-карр, а просто истеричные вопли.

- Кто это? - спросила я однажды Алёшу, который разбирается во всех там птичьих голосах.

- Сойка, так кричат сойки.

- Ну, как это может быть – сойка? Мог Капоте написать о Холли «говорливая, как сойка»? А уж он-то слышал эту сойкину «говорливость», я думаю. Не раз и не два.

Признаюсь, когда впервые на наше водопойное корытце присела абсолютно синяя птица, я, как безумная, заорала: «Алёша смотри!» (а сидели за кофе на кухне). Она тут же вспорхнула (они жутко пугливы!), и я даже не увидела, как она улетела.

Боже, какая красавица! Я думала, это Метерлинк сочинил, и такого просто не бывает. Сойка. Это та самая сойка, которая при всей своей красоте обладает таким отталкивающим голосом.

На этот раз я призадумалась. Вспомнила известных мне красавиц. Да, некоторых лучше было бы не слушать, лучше бы молчали. Но – не такое же!

И я ринулась. на розыски. И вот что я выяснила: в минуты опасности, когда их птенцам, или гнёздам что-то угрожает, сойки издают жуткий вопль, который может испугать даже опытных хищных птиц. На самом деле это певчая птица!!! Которая издаёт мелодичные свисты: звуки, похожие на звон колокольчика.

Сойки – отличные подражатели, в неволе они быстро учатся имитировать человеческую речь. Я почувствовала себе не только отомщённой. Я была совершенно счастлива.

И сейчас, когда среди общих голосов раздаётся незнакомый:

- Что это, Алёша?

- Не знаю, не слышал прежде.

В этот момент я точно знаю: соечка благодарит меня за веру в её певчие возможности.

А вот недавно случилось вообще нечто из ряда вон: увидев двух сидящих у нас и попивающих водицу синих птиц, я тихонечко выползла с аппаратом и успела, не спугнув их, из сфотографировать. Мальчик и девочка. Залетели выразить почтение. Бывают же в жизни моменты счастья, а? Вот этот будет со мной...

Сирень

Приказав себе в середине дня: иди, пройдишь, совсем ведь закиснешь в своей вселенской грусти, подчинилась.

И вот иду, не слишком глядя по сторонам – места знакомые, и вдруг упираюсь скучающим взором в роскошный куст сирени, примостившийся у стены небольшого домика в конце одной из улиц. Не поверила глазам, пробралась по газону прямо к нему: хоть в обморок падай, такой запах! И – выиграло ретивое! Так-так, говорю себе, чую, что не устою перед искушением и под покровом ночи, когда округа отойдёт ко сну, сиренью этой поживлюсь.

Еле дождалась полуночи и, если честно – не слишком мучалась преступностью своих намерений. А уж когда пробралась к кусту, все угрызения мигом улетучились, и остался только азарт детства, когда вместе с мальчишками забиралась в чужие палисадники.

Правда, на букет я не замахивалась, домой принесла всего пару веточек, но комната благоухает! Да и смотрятся они ничего себе, на мой взгляд.

Но вот сомнение одолело: а может это не сирень?

Клён и сердце

Вы верите в приметы? Говорю о расхожих, типа: соль просыпала – к ссоре или: чёрная кошка через дорогу – жди несчастья, или: передала нож из рук в руки – враждовать будешь с человеком, ну и прочая лабуда. Я вот в принципе – нет, хотя, признаюсь, иногда, просыпав соль, через левое плечо перебрасываю щепотку, со смешком, правда.

А вот в знаки, тайные намёки, верю, и присматриваюсь к ним, и прислушиваюсь. Да и к собственным совершенно необъяснимым толчкам души, внутреннему голосу – поступить вопреки всякой логике – прислушиваюсь и всегда бываю наказана, когда пренебрегаю. Правда, посылаемые нам знаки иногда не так уж просто истолковать, особенно в минуты душевной смуты, или, когда дурные новости сыплются на тебя как из рога изобилия: вполне может возникнуть искушение истолковать их в свою пользу, интерпретировать «с пристрастием». Но тут уж точно нужно довериться интуиции...

... Я всегда была сугубо городской жительницей, в Нью-Йорке самые пиковые ситуации переносила на взлёте, просто упивалась всем, что у многих иммигрантов вызывало чуть ли не ужас. Переехав в Вашингтон, жутко тосковала, а уж о том, чтобы поселиться в пригороде, и думать не думала. Никакой склонности жить на лоне природы у меня не было, и, поселившись в нашем городке – хуторе, как я его называю, довольно долгое время тосковала по всему тому, что связано с жизнью большого города.

Но мало-помалу во мне появилась благодарность к этой перемене в жизни: я полюбила тишину, полюбила подолгу глядеть на небо и испытывать щенячий восторг от

неожиданных закатных красок или замысловатых форм облаков, умиляться чириканью птиц и радоваться неведомым цветам, которые с завидным постоянством, без нашего участия, возникают в нашем саду.

Но पुще всего полюбила смотреть на деревья. Всякий раз, когда отправляюсь прогуляться, останавливаюсь перед поразившим ростом или затейливостью кроны деревом и, хоть и знаю, что уже переела плешь своими восклицаниями, не могу иногда удержаться, чтобы не сказать: нет, ты только посмотри, что за чудо!

Пару раз как последняя дура рыдала, когда придя домой, обнаружила, что побывавшие у нас ребята, вызванные, чтоб привести в порядок разросшиеся ветки шелковицы, задевавшие провода, срезали и ветки черёмухи, стелившиеся по скату крыши у моего окна, а заодно, с другой стороны дома, по непонятной причине, обкорнали и липу.

В прошлом году «обрезанию» подвергся огромный клён у террасы, стоящий ровно по её центру. И вот в эту весну увидела я, что клён решил взять реванш, выпростав из-под коры крохотный зелёный листочек. Всякий раз, выходя на террасу, мысленно говорила: давай-давай, голубчик, жми! Немного нелепо эта ветка будет смотреться, я думаю, но ты не смущайся, расти мне на радость. А крохотулечка и не думала замедлять свой рост, выпуская новые листочки.

И вот, возвращаясь к разговору о тайных знаках.

Выхожу пару дней назад на террасу полить цветы, делаю это в ускоренном темпе, ибо зной стоит совершенно адский, дохожу как раз до того места, где стоит клён, и что-то заставляет меня остановиться и взглянуть на уже основательно подростшую веточку. Всмотревшись, обнаруживаю, что рядом с ней образовался узор, которого раньше не было, и выглядит этот узор так, как если бы кто-то аккуратненько вырезал на кленовой коре сердечко. Мерещится, думаю, жара достала. Кончаю поливать цветы, возвращаюсь, вглядываюсь и вижу, что и впрямь, вне всяких сомнений – сердечко.

Ухожу, возвращаюсь с аппаратом, делаю пару кадров, рассматриваю их и обнаруживаю не только сердечко, но прямо над ним – лицо, явно женское и, как бы это сказать – сказочное, что ли и, на мой взгляд, красивое. Сопоставляю увиденное с происходящим сейчас в моей жизни, понимаю, что с бухты-барахты такие знаки не посылаются, и склоняюсь к мысли, что и листок, и узор на коре – благая весть. Справедливо или нет моё истолкование, но так и постанавливаю.

Фил

Вот ведь посмеиваемся мы над нашим кротом по имени Фил, поведение которого второго февраля возвещает, какой нам ждать весны. Испугается своей тени – значит, зима ещё долго будет куролесить, нет – жди ранней весны. А он ведь, голубчик, почти не ошибается... То есть, до такой степени почти, что метеорологам впору краснеть и не зубоскалить на его счёт. Это я к чему?

Да к тому, что весна у нас выдалась нынче не просто ранняя, а ранняя ошеломительно. Не упомяну, когда в середине апреля зацвела у нас в округе сирень. Срезали вчера пару веточек, и букет, хоть и скромный, а комната просто залита ароматом...

И на дворе – по-летнему райская блаженная погода, и птицы посходили с ума: наперебой щебечут, свиристыят, чирикают.

Правда, сегодня гармония птичьего хора была довольно грубо нарушена вороньим карканьем. Выглянула и аж присела от удивленья: две огромные, угольно-чёрные птицы, по всем показателям оголодавшие: одна приземлилась и шурует в цветочном ящике, другая пьёт из корытца с водой.

По совести сказать, совсем не люблю этих вещуний. Но они у нас в округе так редко появляются, что решила сбегать за камерой и снять. И заодно – нашу лужайку, которая, думаю, вызывает недоумение и презрение соседей своей некошенностью.

Но в этом году высыпало невероятное количество сиреневых и лиловых цветочков и одуванчиков, и такие они трогательные, что каждый день говоришь себе: пускай проживут ещё чуть-чуть, а там уж и запустит Алёша трактор... Тихий анти-газонный нонконформизм...

Охота зща супер-Луной.

(Декабрь 2016 г.)

Вчерашняя ночь Супер-Луны прошла у меня под знаком охоты за ней.

Часов в шесть, возвратившись домой и придя в себя, вышла на крыльцо с фотоаппаратом, но, увидев сплошь затянутое облаками небо, вернулась в надежде, что всё-таки наш вирджинский городок Супер-Луной не обнесут. С завистью рассматривала снимок, сделанный в Нью-Йорке Леной, одной из ФБ-подруг, сетовавшей, что её Луна на снимке не слишком «получилась», хотя снимок был, на мой взгляд, совсем не плох.

Чуть погодя увидела и впрямь замечательную фотографию Татьяны Волошиной из Воронежа. И опять выхожу на улицу – тьма египетская, ни луны, ни звёзд. И так несколько раз, и вдруг, где-то около одиннадцати: «Иди скорее, она появилась!» - кричит вышедший покурить Алёша.

Стремглав выскакиваю на террасу и вижу сквозь ветки уже сбросивших листья липы и клёна её, голубушку! Задрав голову, навожу объектив и, увидев, что она как-то странно покачивается из стороны в сторону, понимаю, что это не она, а я качаюсь вместе с камерой. «Эй, - говорю, - Алёша, поддержи». Протягивает руку к камере. – «Да не камеру, а меня поддержи». – «Давай я сниму, не всё ли равно кто снимет»? – «Очень даже «всё», - говорю, - я весь вечер дежурю, и в результате сниму не я»?

И вот Алёша становится сзади, я на него опираюсь и «ищу кадр». Возвращаюсь к компьютеру, проверяю, вышло ли что-то. Вижу, что не шедевр, но всё-таки хоть что-то.

«Пошли гулять, - говорю, - вдруг удастся снять получше»? Выходим. Четверть двенадцатого. Наши синоптики предупреждали, что из-за яркости Супер-Луны в нашем полушарии увидеть Геминиды, метеорный дождь, вряд ли удастся...

«Как же, как же, - ворчала я, выходя из дому и каждый раз упираясь глазами в затянутое плотной пеленой небо, - из-за «яркости», ха-ха»!

Но небо очистилось, несколько фотографий уже сделала, жаловаться грех. И тут, едва дошли до угла – подарок! От неожиданности и какого-то странного восторга, я заорала: метеор! Это было и впрямь совершенно прекрасно: яркий, чистый небосвод и перерезавшая его и растаявшая так же внезапно, как появилась, яркая черта света, ушедшая куда-то в подземелье...

Ходили мы ходили, задирали головы, но нет, больше не случилось. Сделала пару снимков: Луна уже стояла прямо над головой. У дома опять «поймала» её в окружении веток нашей шелковицы. За четверть часа до полуночи.

Зовут эту последнюю Супер-Луну года Холодной и Луной Дуба. Она возвещает о том, что впереди – холода и могущественный зимний праздник наших предков Йоль, который начинается в день зимнего солнцестояния и самой длинной ночи в году, когда властителями в этом мире становятся духи.

Длится Йоль тринадцать ночей. Это – брешь между двумя годами, сакральный период, в течение которого нет ни привычного времени, ни привычных границ, когда вершится жребий богов и вращается веретено богини Судьбы. В нашем полушарии самая длинная ночь придёт на 21 декабря. По древним поверьям вчера началась битва между Королём Остролиста и Королём Дуба, символизирующих Старый и Новый Год. Так что охотилась я вчера за Луной Дуба, если верить предкам, не зря. Движемся в сторону Йоля и Рождества. Выбрала из двенадцати получившихся, в качестве свидетельства, вот эти.

Личное

Новый 2016 год. ФБ

В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы —
грядую могильной вставали Уральские горы?

Друзей и подруг, френдов и френдочек, по обе стороны океана, в разных концах света поздравляю с Наступающим, а у многих и наступившим Новым 2016 годом. Говорят – год Обезьяны, добавляют – огненной, в иных интерпретациях – красной. А я скажу: зовите, как хотите. Главное, что это ещё один рубеж, который мы переходим. И от нас в огромной степени зависит – каким он будет. Какой сигнал мы пошлём во Вселенную, которая – уверена! – видит и слышит нас, каким бы невероятным это ни казалось. Я безмерно благодарна судьбе за то, что я узнала столько невероятно одарённых, ярких, добрых, умных, отзывчивых, чистых, талантливых, одухотворённых людей. Виртуал, скажете мне? Неправда. Сквозь все эти мегабайты, лайки, смайлики, сердечки и милые, вроде бы ни к чему не обязывающие слова, всегда – всегда! – можно разглядеть человека. Я благодарна всем вам, виртуалы, за тёплые слова, за проявления любви, за доброту, за щедрость. Рада, что вы есть! Всеми силами души желаю вам, чтобы вокруг вас всегда были искренние, добрые, щедрые, внимательные, заботливые люди. Человеки, то есть! С Новым годом! Будьте по возможности счастливы! И – любите! Соседей, друзей, подруг, цветы, зверушек, мирозданье. Как сказал рыцарственный Бальмонт «Кто не любил, не выполнил закон, Которым в мире движутся созвездья, Которым так прекрасен небосклон». До встречи!

О нормальности

К вопросу о нормальности (см. предыдущий утренний пост) Приехала ввечеру, в девятом часу, домой. Сообщаю: «Это ж надо, что на дорогах творится. Не мудрено, впрочем – конец недели».

«В каком смысле?» - спрашивает меня «нормальный» товарищ.

«Ну. в том смысле, что в пятницу в это время всегда на дорогах напряжёнка».

«Да, - несколько недоумённо подтверждает он, - Правда, сегодня четверг».

«То есть как четверг? В каком смысле?»

Пару минут пытаюсь доказать, что это – не так

«В четверг не бывает, - говорю, - уик-эндовского приложения к «Вашингтон Пост»! - И, уже в качестве супер-убойного довода, - А я сегодня поутру его читала. Сеансы в кино. И гороскоп в том числе. И вот – Асти Спуманте по следам прочитанного купила».

«Приложение с прошлой недели осталось. И гороскоп тоже, - говорит Алексей, - А Асти Спуманте вполне сгодится и для четверга».

«Всё, - говорю, - Ясно как апельсин! Я ведь поутру пост поставила, обещая разобраться сегодня, в пятницу, то есть, нет ли у меня – цитирую Джорджа Карлина,

«некоторой формы психического заболевания». Имея в виду, что пятница – именно сегодня».

«Ну, так ещё не вечер», - мне в ответ.

«Восемь вечера, - возражаю.

«Правильно, - говорит, - Но восемь вечера в четверг. Целый день впереди».

Так что, ребятки с отклонениями: прочь сомнения, я – ваша!!!

Анонимы

Есть несколько пакостников, которые из года в год сообщают обо мне недостоверные сведения на разных инфо-сайтах. Есть и доброжелатели, которые мне, в свою очередь, об этом сообщают. Последние – под собственным именем. Первые, как и положено – анонимно. Вот только тексты лезут хотя бы для приличия изменить... Что-то, наверное, есть во мне такое, что не даёт покоя мерзавцам. И сие рассматриваю как комплимент А ведь столько лет прошло с тех пор, как покинула страну...

БДТ (ФБ)

А в ночи вспомнился эпизод, связанный с Грибоедовым. Рада очень, что всплыл: так ярко, и отчётливо, и слышимо, будто случилось вчера. На третьем курсе стали занимать в спектаклях БДТ. В «Горе от ума», нашумевшем товстоноговском спектакле, это был эпизод в сцене бала.

И вот стою на переднем плане, у рампы справа, рядом – Басилашвили (Бася, как его называли), в центре – дородная Доронина, вокруг которой вьётся Лебедев (мой педагог) с подобострастным вопросом «На завтрашний балет имеете билет?» И Доронина, сыгравшая уже в потрясающем спектакле «Варвары», и уже на веки вечные закрепив найденную в роли Монаховой интонацию и манеру с придыханием растягивать слова, плывёт вдоль рампы от центра к левой кулисе, растягивая слово Н-Е-Е-Е-Т чуть ли не на четыре шага. А Бася сквозь зубы зловеще цедит мне в левое ухо: «Над пропастью во ЛЖИ».

Это был мой первый урок стоицизма: меня стало просто разрывать от смеха, и если бы, хоть на секунду, я дала ему выход – всё, это был бы конец! Я, во-первых, свалилась бы в оркестровку, а, во-вторых, меня бы точно Товстоногов сгнобил. Никакое заступничество Лебедева не спасло бы. Знала из актёрских баек, что, расколовшись на сцене, остановиться уже невозможно. Хохотать начинаешь не только ты, но и те, кто занят в сцене. Позднее испытала уже на практике. А здесь, как стойкий оловянный солдатик, выдержала. Бася, видевший мои муки, в антракте шепнул мне: «Больше не буду» и ласково похлопал по плечу.

Обещание выполнил, но всякий раз, когда доходило до этой мизансцены, опасно косила на него глаз... СПАСИБО, НАТАЛЬЯ КОНДРАШОВА. А то этот эпизод так и остался бы погребённым «в подвале памяти».

Дорога в Кармел, Индиана.

Вот мы уже и дома, а на карте наших гастрольных маршрутов теперь ещё одно название: город Кармел в штате Индиана. Расстояние туда – шестьсот миль – мы, в принципе, не собирались одолеть в один присест, но даже если бы решили, всё равно не сумели: в горах в Пенсильвании попали в жуткую грозу, нас буквально накрыл ураганный ливень с нулевой видимостью. Ехали, вернее – передвигались, чуть ли не ощупью, и это, скажу я вам, совсем не мармелад. Как только развиднелось, уже в Огайо решили, не дожидаясь темноты, съехать сразу же на первый знак Food lodging, gas – (еда, ночёвка, бензин). И вот, заприметив пару указателей и решая, в какую сторону податься, уже на подъезде к отелю из разряда надёжных, увидели неслыханную совершенно, через всё небо радугу, буквально упирающуюся концами в землю. Или из неё растущую.

Пытаюсь снять, руки дрожат не столько от азарта, сколько от пережитого ужаса, понимаю, что снять не удастся и бормочу: хоть бы она продержалась ещё чуть-чуть. Подъезжаем, радуга на месте, но в экранчик моего села никак не вмещается. «Снимай половину, - распорядится Алёша, - я пошёл регистрироваться». «Слушай, - говорю, когда он выходит на улицу, уже получив номер, а где мы, ты хоть понял»? «Лондон», - говорит. «А почему не Париж?» - я ему в ответ. «Да я не шучу», - говорит, - смотри вот туда».

Лондон – читаю, штат Огайо, без всяких шуток. Так и записываем: на цветаевский спектакль добрались, пересеча Вирджинию, Мэриленд, Западную Вирджинию и Пенсильванию с остановкой в Лондоне.

Дорога на следующий день, через Огайо и Индиану была безоблачной и лёгкой, а Кармел оказался прелестным идиллическим городом. В незнакомом месте, в нашей ситуации бродячих артистов, без администраторов, менеджеров и промотеров всегда волнует вопрос зрителей. И всё отступает на второй план, когда оказывается, что спектакль по-настоящему волнует, что людям, на него пришедшим (а многие из них, как узнала уже после спектакля, приехали издалека, из других городов) этот спектакль нужен.

А чтобы хоть в какой-то степени выразить благодарность организаторам спектакля Ефрему Пекару и Юлии и Натану Вейсбердам, у которых мы остановились – нет никаких слов. И они, и их друзья, просто растопили наши сердца.

Должна сказать, что в этот раз я с особой силой убедилась в том, что люди, которые, способны по-настоящему внимать цветаевскому слову – это люди совершенно особой породы. Среди них просто не может быть людей неблагодарных.

ФБ. Комментарий к песне.

Решилась признаться: дёрнул чёрт заглянуть на страницу одной из ФБ-другинь, сделавший репост песенки. И вот вижу, что песню слушают и у неё есть поклонники. Как славно, думаю. И тут вижу – немыслимо злобный комментарий.

Поразил именно каким-то шипящим звуком: даже выражение лица пишушей увидела. Я не скажу, что мне безразличны отклики на песню, тем более что эта был только-только Алёшей сочинена, спета мной и записана. Обругала бы меня – пожалала бы плечами и подумала: что делать, не понравилось исполнение или голос, или ещё что-то.

Но песенка ведь, сама по себе, славной получилась... А я, привереда, не стала бы петь иначе.

И заглянула я к комментирующей в гости и увидела, кто она такая.

Ну, во-первых, дама пишущая. В том смысле, что – из выносящих по долгу службы приговоры. Критикесса то бишь: знает совершенно точно, как надо. Но без понятия, как это «как над» выходит. И, ладно бы, написала с апломбом просто. Но почему злобно так?

Телекритик она, вот что... Видео её задело за живое.

Посмотрела её собственные кадры из жизни... Страшененькая, ведёт себя нахально. На фотографиях позирует, как если бы была первой красавицей на селе. Язык чесался, и рука просила написать: приоденьтесь поэлегантней и причёсочкой займитесь, но... споткнулась на полуслове: стыдно, Жанна.

Как не стыдно! Она, может, когда писала, всё больше раздражалась видом моим, а не видео и, стало быть, пожалеть её надо. Лет вроде немного – что станется, когда поживёт и хлебнёт с моё... Пусть резвится, решила, и вершит судьбы на просторах родины прекрасной...

А я проглотила пилюлю горькую и – пошла дальше песенки петь и радоваться жизни...

А насчёт видео, кстати: мера-то вынужденная, Цукерберг не даёт ставить аудио просто так, а мы – учимся по ходу. Доберёмся и до совершенства. Что, думаю, критикессе этой будет вообще, как кость в горле.

Отъезд. 1981 г.

Нам ведь не разрешали никакие «печатные материалы» вывозить. Мотив – собственность государства. Свою гитару носили в Министерство культуры «оценивать» и выкупать у себя же... Многие афиши и постеры так и пропали, но некоторые наиболее обязательные друзья всё-таки переправляли. Этот, вероятно, постеснялись зажилить из-за надписи моей маме... А вот потрясающий цветной постер к «Там вдали» с песнями Высоцкого так и остался у кого-то. Только программка есть. Смешно звучит, но я по нему долго тосковала. Теперь уже прошло... А могли на самом деле всё уложить в чемоданы: нас шмонали ребята, которые по какой-то счастливой случайности, посмотрели за день до нашего отлёта телевизионный фильм с моим участием, и когда мы с готовностью начали октывать чемоданы, а я – снимать с рук колечки, мотнули головой и сказали: закройте, всё в порядке. Но – кто мог знать? Незабвенный 81 год...

Пьянство в театре

Пишу про то, что знаю. А именно – про бывшее Отечество. Где пьянство в театрах процветало до отвращения. В данном случае говорю о своём отношении: нестерпима была даже мысль о том, что на сцену можно выйти, как следует «поддав», а то и вовсе набравшись. Мерзко.

Что до Америки – наблюдала не слишком долго, в Нью-Йорке, на протяжении трёх лет. Работают актёры на всяких работах, чтоб прокормиться и заработать на классы. На репетицию приходят как огурчики, готовы работать столько, сколько от них потребуют – говорю об Оф Бродвее, где играла сама и помогала в работе с актёрами Алексею.

Какие там зарплаты и какие загулы? И какие «штаты»? Здесь и репертуарных театров, к худу или к добру – кот наплакал...

Конец января

«День кончился. Что было в нём?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки - не повторится».
З. Г.

Обыкновенным, да, но до чёртиков красивым.

От ночного кошмара пробудило оранжевое полыхание в окне. Глянула на часы – семь утра. Выглянув в окно, обрадовалась: застала начало дня.

Не вполне придя в себя, сделала несколько снимков и вернулась досыпать с мыслью: вдруг и закат будет хорош? Его у нас показывают в другой стороне дома. Сфотографирую и поставлю точку, скажу январю «прости» и с ним всему, что сваливалось на голову месяц подряд с какой-то зловещей последовательностью и упорством.

Природа услышала мои упования: день был волшебно тёплым, так что удалось даже пройтись по хуторочку, с удовольствием шлёпая по лужицам: снег тает и тает, завтра и вовсе пойдёт дождь, унесёт последние следы январского урагана.

А ввечеру, в шесть часов: увидела, что и закат будет на славу. Запечатлела и говорю январю «прощай» и с ним – всем бедам, малым и большим. Начинаем двигаться навстречу весне.

Лариса

Приближения майских праздников в том году я по-настоящему страшилась. В апреле в болезни мамы наступил момент, когда вызывать скорую помощь еженощно стало просто невозможно, нужно было предпринимать что-то радикальное. Хотя приезжающие врачи вели себя феноменально гуманно: мама переносила страдания стоически и даже в самые жуткие минуты умудрялась улыбаться, и её улыбка, чуть-чуть виноватая, не могла не растопить сердца даже самых чёрствых людей.

Врачей к тому же гипнотизировали афиши на стенах, и это тоже в какой-то степени способствовало их благожелательности. В одну из ночей стало ясно, что из лёгких нужно снова откачивать жидкость, которая всё накапливалась и накапливалась, и совсем молодой врач, почти мальчик, который только что не плакал при виде маминых страданий (приезжал уже не в первый раз), отведя меня в другую комнату, сказал: «У вас рядом Остроумовская, в двух шагах буквально. Подумайте. Кто знает? Может, они сумеют на время остановить развитие болезни. Я помогу маму устроить». – «Сейчас?», - с ужасом спросила я. – «Да», - коротко ответил он и положил руку мне на плечо.

И поздней апрельской ночью мы поехали в больницу. Он и впрямь сделал всю процедуру приёма почти мгновенной, и мы, увидев с облегчением, что палата приличная, что коек в ней не так уж много, что маме, после процедуры, стало лучше и она заснула, расстались до утра.

Мама много раз обманывала мрачные прогнозы врачей. Первый раз это случилось, когда я настояла на её переезде из Кишинёва: после операции, сделанной, как потом выяснилось, недостаточно радикально, в болезни наступил рецидив, и я сумела убедить маму, что приезд нельзя откладывать даже на секунду.

На консультацию в Боткинской, у знаменитой Баженовой, хирурга-онколога, я записала маму заранее. Необъятных размеров, как показалось мне, комната, в которой стулья стояли не только по периметру, но и посередине, выглядела больше, как вокзальный зал ожидания, чем приёмная в больнице. Сходство усугублялось тем, что у многих сидящих на коленях или рядом на полу были рюкзаки или внушительных размеров сумки, словно они попали сюда прямо с поезда или аэродрома. А, может, так оно и было.

Время от времени дверь кабинета открывалась, выходила медсестра и громко выкликала кого-то из зала. Было тихо, если и говорили, то полушёпотом. Осязаема была висящая надо всем тень тревоги. В какой-то момент из комнаты вышел молодой человек и, пройдя приёмную, куда-то удалился. Через некоторое время я увидела его опять. Проходя мимо нас, он как-то странно остановился возле, будто хотел задать какой-то вопрос, но, передумав, вернулся в кабинет. Мы с мамой переглянулись.

«Врач или студент, как думаешь?» - спросила мама. – «Трудно сказать, - ответила я. - В любом случае – красивый. И на тебя посмотрел с интересом».

Мама, приняв мои слова за попытку ободрить, благодарно улыбнулась. Но я не лукавила, на маму обращали внимание всюду: что-то было в её лице до чрезвычайности притягательное, и была она совсем не по-советски элегантна и в манере держаться, и в том, как «носила» одежду. Да и исполнилось маме в тот год всего лишь 48 лет.

А человек в белом халате вновь вышел из комнаты и, снова бросив искоса взгляд на нас, дошёл до конца зала, постоял секунду, резко развернулся и направился прямо к нам с мамой.

- Простите, - обратился он ко мне, - Ваша фамилия не Владимирская?

- Да, Владимирская, - ответила я, слегка опешив.

- Можно вас попросить пройти со мной?

Я, неуверенно оглянувшись на маму, пошла за ним, он открыл дверь кабинета и, пропустив вперёд, торжествующе сказал: «Она!»

Навстречу мне поднялась рослая женщина. Баженова? Наверное, это она. «Какая большая!» - пронеслось в голове. А та, вытянув навстречу мне огромные лапищи, буквально сгребла в свои объятия. И потом, отстранив: «Дайте посмотреть на вас. Да вы дитя просто. Мы тут все (указывая на сестру и ещё одного врача, постарше первого) ваши поклонники. Да вся наша онкология уже была на вашем спектакле».

Я растерялась. На спектакль действительно Москва «ходила», но – онкология!

- Господи, да что же вы стоите? Сядьте, дорогая. Что привело вас на приём?

- Мама, - ответила я.

- Мама? Она с вами, здесь?

Я кивнула.

- Фамилия Владимирская?

- Да.

- Саша, - распорядилась она, - ведите маму!

И мама, держа в руках привезённую с собой историю болезни, вошла, а меня вежливо и настойчиво попросили выйти.

Решение о приёме мамы в Боткинскую само по себе было просто невероятно: очереди там были неслыханные, а тут ещё – приезжий человек! Что до скорости всех последующих событий, то она была вообще фантастической. На следующей неделе я привезла маму в онкологию, и через пару дней, после всех анализов, был назначен операционный день. Уже перезнакомившись к тому времени со всем персоналом, я, держа лежащую на каталке маму за руку, проводила её почти до операционной двери.

С Сашей я подружилась. После операции он вышел ко мне, и я, умирая от страха, попросила его ничего от меня не скрывать.

- Два года, - сказал он, отведя глаза. - Я надеюсь, что два года у вашей мамы есть.

И я сказала ему: «Мама знать этого не должна. Я просто умоляю вас уверить маму в благополучном исходе, без всяких прогнозов на будущее»!

Своё обещание Саша сдержал, а мама, хоть и приходила в себя очень долго после тяжёлой радикальной операции, была абсолютно уверена в том, что самое плохое позади.

Я же, всеми силами отгоняя мысль о Сашином прогнозе, тем не менее, начала заговаривать с мамой о переезде. «Для меня это было бы просто счастьем, - уговаривала я маму. - И потом – ты так любишь Москву! И сможешь ходить на все спектакли, какие только захочешь. Во все театры. Контрамарки тебе обеспечу, а?»

- Вряд ли это возможно, - качала головой мама. Но я видела, что заронила-таки мысль о переезде. А потом мама увидела меня первый раз на настоящей сцене, а не в выпускной «Вассе Железновой» в Питере, и была счастлива, и, похоже, мысль о переезде мало-помалу начала в ней прорастать.

В аэропорту, провожая маму, я сказала: «Мама, смотри, как всё невероятно получилось с Боткинской, и с Баженовой у тебя хорошие отношения установились! А ведь было бы здорово, чтоб она следила за тобой, а не врачи, с которыми ты имела дело раньше». И колесо фортуны завертелось.

Я до сих пор думаю, что какая-то незримая рука руководила событиями тех лет: нам были подарены почти девять лет совместности! Болезнь была забыта, мама, хоть и пожертвовала прекрасной квартирой в Кишинёве, обменяв её на комнату в коммунальной, тем не менее, буквально расцвела от счастья, да и комната была просторной, соседей всего трое, дом – на проспекте Мира у Садового кольца, юрисконсультская работа – в самом центре Москвы.

Через несколько лет я пригласила Сашу на свой спектакль в зале Филармонии. Играла во втором отделении концерта «Человеческий голос» Кокто. Саша ждал меня после спектакля. Когда он увидел рядом со мной маму, он до такой степени оторопел, что на секунду замер, не поверив своим глазам. Так и запомнила эту минуту: счастливая, улыбающаяся мама, волшебный зимний вечер, поблескивающие на её шубке снежинки и застывший на секунду доктор.

...Это был довольно трудный период в моей профессиональной жизни, подробности которого здесь не место приводить. Скажу только, что разразившийся конфликт с властями мама воспринимала куда тяжелее, чем я. Я-то «сражалась», и это меня даже в каком-то смысле вдохновляло, а мама с горечью следила за потерями, которые я несла в этих битвах.

Но тут в жизни мамы появился ещё один мощный стимул: я ждала ребёнка, и это известие произвело на маму совершенно невероятное действие. А уж когда родилась Настенька, вообразить человека более счастливого, чем мама, было просто невозможно!

Любовь, которой мама одаряла Настю, девочка возвращала Ларисе, как её называла, с лихвой. Когда Настенька начала ходить, мама совершала с ней долгие прогулки в Сокольники, и надо было видеть эту пару: они буквально светились от счастья!

К этому времени мы с Алёшей покинули большую двухкомнатную квартиру на Русаковской, мама – свою комнату на Проспекте мира, и зажили мы все четверо весело и дружно на Короленко. У мамы – чудная комната с балконом, у Настеньки детская, у нас с Алёшей не просто большая, а я бы даже сказала огромная: гостиная, столовая, спальня – всё вместе.

Бедка пришла, как часто бывает, совершенно неожиданно-негаданно: мама простудилась, и поначалу нам даже и в голову не приходило, что плеврит – диагноз, поставленный участковым врачом, на самом деле означал, что проклятая болезнь опять выползла из засады.

Когда стало очевидно, что никакие обычные средства борьбы с простудой не помогают, мы поняли: время опять обращаться к онкологам. Когда на этот раз прозвучал мрачный диагноз, и мама о нём знала, надежда ни у неё, ни у нас не пропадала: химию мама перенесла стойко, в болезни наступило затишье. А потом начались хождения по мукам.

Сейчас, вспоминая те годы и сопоставляя свои нынешние знания об этой проклятой болезни, я понимаю, какой феноменальный прогресс сделала медицина за эти годы, а тогда – господибожемой! За какие только средства мы не брались и к кому только не обращались за помощью.

По Москве прошёл слух о человеке, который лечит каким-то невероятным, придуманным им самим раствором, о котором рассказывали чудеса. Сейчас я понимаю, что это была хоть и самодеятельная, но вполне резонная попытка использовать биологический раствор, который укреплял иммунную систему, помогал сопротивляться болезни. Нужно было за ним ездить на другой конец города и вводить дома внутримышечно и Алёша, по счастью, оказался на редкость искусным медбратом.

В состоянии мамы наступил период просветления, и она опять изумила врачей, когда мы приехали с ней в Боткинскую на приём к Баженовой. Но по лицу Баженовой я поняла, что нам не следует обманываться, что передышки будут всё короче. Саша на этот раз ничего не говорил и только грустно улыбался: он знал, что нас ждёт, но я упорно отгоняла от себя мысли о конце и только твердила вслух и про себя: только не больница, только не больница!

Но когда этот момент настал, даже тогда я не теряла надежду и ни разу не сказала себе «это конец». Сейчас я думаю, что надежда продлевала и мамину жизнь.

Я часто навещала маму вместе с Настенькой.

- Как ты можешь! - буквально возопила, узнав об этом, мамина приятельница. - Это сумасшествие – водить ребёнка в больницу. Я говорю даже не о микробах при этой болезни (рак она произнести побоялась) и возможности заразиться (в ту пору многие были убеждены, что болезнь и впрямь заразна), но эмоционально? Ты травмируешь ребёнка!

Боже, как превратны наши представления о том, что дети понимают и что совершенно проходит мимо них, не задевая их души. Настя, едва мы переступали порог палаты, устремлялась к маме и, деловито взбираясь на койку, начинала поведывать ей события своей жизни, и на свой лад утешала её.

Помню, как она взахлёб рассказывала о том, что её пёсик, Кузя, приболел, и ей удалось его вылечить, накормив сладкими булочками, и если мама хочет, она принесёт булочки в больницу это чудо-лекарство. Но лекарством была сама она. Мама блаженствовала, да и все в палате буквально расцветали от присутствия Настеньки и её деловитого баска.

Однажды навестить маму увязался Настенькин дружок Миша, почти на три года её старше: ей было неполных три, ему перевалило за пять. Когда Настенька, услышав птичье чириканье, спрыгнула с маминой кровати и устремилась к окну «поговорить с птичками», Миша взобрался на кровать и, виновато глядя на маму, и, опустив свою ладошку на исколотую и измученную мамину руку, начал её тихонько поглаживать. Я поспешно отошла к окну, потрясённая тем, как мальчик смотрел на маму: он знал, больше чем мы, и увидел, то, от чего, мы, взрослые упорно отводили взгляды!

В больницу мы ходили дворами, напрямик выходя к больничному корпусу через громадный проём в каменном заборе, которым была обнесена территория Остроумовской больницы. На обратном пути Миша перешагнул на улицу первым, потом джентльменски протянул руку Насте, а я, уже приготовившись сделать шаг, застыла на месте: «Когда проход закроют, мамы не станет» - услышала я чей-то голос, и с ужасом поняла, что это я произнесла страшные слова.

Я не умею сказать, что со мной сделала эта фраза, и как она до сих пор возвращается ко мне и открывает так и не зажившую рану. Я предала надежду и иногда думаю, что ускорила тем самым неизбежное. В сердце моём навсегда осталась мука этих произнесённых слов.

В это время мы репетировали с Алёшей спектакль «Письма к незнакомке». От успеха постановки зависело и будущее Кати Еланской, которая должна была стать главрежем литературно-драматического театра ВТО, и то, войдём ли мы с Алёшей в труппу театра. Мама живо интересовалась тем, как идут наши дела и беспрестанно уговаривала меня: «Детка, не мучай себя, тебе нужны силы, нужно, чтобы спектакль удался. Не надо тебе каждый день приходиться ко мне». И на все мои протесты, говорила: я хочу, чтобы спектакль получился. Но я, словно желая зачеркнуть произнесённую мной фразу, упорно, изо дня в день, по вечерам подолгу сидела с мамой.

Однажды, придя в больницу, я застала маму стоящей у окна. Увидев меня, она улыбнулась такой исполненной муки нежной улыбкой, что никаких слов не надо было: мама прощалась с жизнью, и мама жалела меня.

Кризис в болезни наступил именно в майские праздничные дни, приближения которых я боялась: какой-то один дежурный врач на весь корпус, да и медсестёр в этот день не было видно, а больные, почти все, торчали у общего телевизора. Я принесла, помимо какой-то снеди, маме подарок: одна из моих верных поклонниц снабжала меня косметикой, и мама, увидев в числе прочего помаду, ужасно обрадовалась. Я теперь понимаю, что в этом подарке она увидела знак: не всё потеряно, ещё есть надежда!

На другой день я застала маму в очень мрачном расположении духа и по глазам поняла – мама плакала... «Что, мама, что случилось»? Но она только каким-то совершенно безнадежным жестом указала на ящик тумбочки: принесённой мной косметики там не было. Я беспомощно оглянулась по сторонам, и одна из женщин жестом подозвала меня к себе и прошептала: «Врачиха сегодня во время обхода, увидев ваш подарок, сказала: Лариса Александровна, откуда эта роскошь? - От дочери - О, как мило, - сказала та и сгребла всё со словами: «Спасибо, дорогая, вам же она не нужна, правда?»

На меня накатила какой-то невыносимый приступ бешенства, я рванула к двери разыскать врача, но мама, окликнув меня, умоляюще произнесла: «Жаннуля, не надо, прошу тебя! Мне ведь и впрямь она не понадобится».

На следующий день, вечером, совершенно внезапно, случился с мамой страшный приступ: всё тело её начали сводить судороги, исказилось страшным гримасой лицо, какие-то нечленораздельные звуки и хрипы вылетали из искривленного болью рта. Маму подбросило вверх какой-то неведомой силой, голова ударилась о спинку кровати, и я, пытаясь удержать маму, стала звать на помощь. Я не кричала даже – я вопила!

Палата была пуста – все ушли смотреть праздничную передачу, а отойти от мамы я боялась. Крики слышала проходившая мимо палаты женщина из больных и, увидев происходящее, кинулась искать сестру. Держать маму, вместе со мной пришлось ещё нескольким вбежавшим на крик больным. А сестра делала один укол за другим, пока мама не стихла и не впала в забытие.

... Утром, когда я вошла в палату, мама уже не спала. Страшная мука была написана на её лице, и, когда я подошла, она прошептала: «Детка, зачем ты это сделала? Деточка, зачем?..»

Услужливая медсестра сообщила маме, как сказал соседка по палате, что, если бы не я, её уже не было бы в живых.

И я поняла: мама больше не хочет мук и главное – она больше не будет бороться.

Мамы не стало через месяц, девятого июня.

- Почему мы не идём к бабуленьке, мама? Когда мы пойдём к ней, почему мы не идём к ней? - допытывалась Настенька

- Деточка, Лариса улетела на звёздочку, ей там не будет больно, но она всегда будет видеть тебя, - поняв, что я не в силах говорить, отвечал за меня Алёша.

Это объяснение, обрастая подробностями, сложилось в сказку, надолго завладевшую Настенькиными помыслами.

Когда мы оказывались на улице вечером, она, запрокинув голову и приметив звезду, махала ручонкой и говорила: «Смотри, вон там, видишь? Это бабуля посылает нам привет».

На плите, лежащей на маминей могиле, мы с Алёшей написали «Все души милых на высоких звёздах». Настенька прочла эти слова через много лет, став уже взрослой...

Лебедев (Васса Железнова)

Ленинград. 1966 год, май. С подругами Ниной и Таней после спектакля «Васса Железнова» Мы были счастливы, и мы любили друг друга...

Нас было 25. 25 счастливцев, принятых в 62-м году на актёрский факультет Ленинградского театрального института.

Мы были первыми: с нас начала существование кафедра Товстоногова. И мы были первыми учениками Евгения Алексеевича Лебедева, которого, хоть и побаивались слегка, довольно скоро за глаза стали называть по-панибратски Женей.

До сих пор не вполне могу объяснить, почему второго педагога нашего, милейшую Марию Александровну, мы, хоть частенько и подтрунивали над ней, называли между

собой не иначе как Призван-Соколова. То ли была особая магия в этом двойном имени, то ли вызывал уважение её облик, немного из другого времени – и фамилия была ему под стать, то ли в силу некоторой домашности. В её отношении к нам было что-то до такой степени располагающее, что даже и мысли о том, чтобы называть её по имени, не могло возникнуть. А Марья Александровна звучало как-то неуютно.

Так или иначе, было нас 25, первый год обучения двигался к концу, и ужас, который простое упоминание о том, что Товстоногов «заглянет» к нам на экзамен по актёрскому мастерству, плюс его грозный облик (что не мешало нам называть его Гогой) – ужас этот материализовался страшным кошмаром, завершившим экзамен: с курса было отчислено 13 человек с приговором «профнепригодны». О сцене, разыгравшейся во время оглашения отметок, включая рыдания и даже обмороки, в двух словах не рассказать и не об этом сейчас речь. Речь – об уроке, преподавшем мне Лебедевым и затверженным мной на всю оставшуюся жизнь. Итак.

На втором курсе к оставшейся после проделанной Гогой вивисекции, к сиротливой дюжине прибавилось трое: две девочки из других вузов, а Варя Шебалина, с которой вскорости у меня установились приятельские отношения, перешла к нам с другого курса (о её трагической гибели узнала уже здесь, в Америке).

И вот, когда Лебедев торжественно сообщил на одном из занятий, что в качестве дипломного спектакля он будет вместе с Призван-Соколовой ставить «Вассу Железнову», распределение ролей изумило всех, меня в том числе. Крепко сбитая, полноватая и основательно земная Варвара будет играть Вассу, думала я, а мне предстоит играть Рашель, и эта перспектива меня нисколько не прельщала. Однако я ошибалась. На роль Вассы была назначена я, хотя был и второй состав, но он так и остался на бумаге – перспектива махнутья ролями с исполнительницей Рашели так и не реализовалась.

Рашелей было две, они играли в очередь. Вассу играла только я. Довольно скоро после начала репетиций я смекнула, что и выбор пьесы, и назначение меня на роль Вассы не случайны, что в этом безусловно поучаствовал Гога. А для Лебедева наш курс был опытной экспериментальной площадкой, и он потихоньку, занимаясь Вассой, начал примеряться к будущей своей роли в спектакле БДТ «Мещане».

А педагогом он был никаким и, думаю, его это дело ни в малой степени не интересовало. Когда мы перешли на сцену учебного театра, у меня уже был опыт конфронтации с ним. Первый раз это случилось после оглашения списка отчисленных: я «посмела» запросить аудиенции с ним и стала доказывать, что мой партнёр в этюдах, Володя, румянощёкий и жутко смешной парень – его фамилия затерялась где-то в глубинах памяти – что Володя по-настоящему талантлив и отчислять его глупо. В первую секунду, как только я выпалила это «глупо», Лебедев опешил. Потом лицо его стало наливаться краской, голова слегка потрясываться, и он уже раскрыл было рот, чтобы что-то произнести, как вдруг вперил в меня свои глаза-буравчики и, помолчав, произнёс: «Он, может, и не без способностей, но с его внешностью вряд ли он может рассчитывать на успешную карьеру».

- А что вас так в его внешности не устраивает? - не унималась я, ободренная тем, что он всё-таки говорит со мной, а не топчет гневно ногами и не кричит.

- У него нет глаз, - отрезал он и пресёк ещё одну мою попытку возразить, подняв в предупреждающем жесте указательный палец и произнеся очень выразительно: «Мать!» (Так он обращался ко всем девицам на курсе). Этот вздетый к небу перст означал: один раз тебе это сошло с рук, во второй раз – берегись!

Господи, какое счастье, что я заткнулась и не возразила на его замечание о внешности Володи, что и у него, у Лебедева, она тоже – не ахти. Пронесло, что называется. А Женя меня зауважал, что было замечено Варварой, однажды возвестившей: а Женя-то с тобой считается, мать.

Второй раз я посмела перечить Лебедеву, когда разбиралась сцена первого появления Вассы, широкого прохода к письменному столу на переднем плане. Как баран, остановившись на полпути и упёршись глазами в стол, я спросила: а почему стол стоит слева?

- Потому что он стоит слева, - отрезал Лебедев.

- А нельзя его поставить справа?

Как говорят в таких случаях, над залом нависла тяжёлая пауза, и взоры присутствовавших устремились на Лебедева. На его лице читалось одновременно и раздражение, и недоумение, и что-то похожее на любопытство.

- А чем тебя не устраивает стол слева, мать? - процедил он с растяжкой, как бы давая понять, что сейчас вместо стола отправлюсь кое-куда и я и точно – не направо.

Увидев, что все ребята смотрят на меня почти с испугом, а Варя (она, кстати сказать, играла мою наперсницу, Анну) делает из зала страшные лица – мол, заткнись, не смей перечить, я, тем не менее, произнесла: «Мне же надо будет сидеть за этим столом, так ведь?»

- Ну, так.

- А я ...

- Что – ты? Не мямли.

- У меня...

- Что у тебя? - Лебедев, уже начиная терять терпение.

- У меня профиль.

- Что – профиль, при чём здесь профиль?

- Левый профиль – сказала я.

- Ну и?

- Гораздо хуже правого.

И тут случилось неожиданное: сначала громко, на весь зал, хмыкнула Призван-Соколова. Что-то типа – ХА! а Женя прилёг всей грудью на стоящий перед ним столик и начал совершенно недвусмысленно, подрыдывая, ржать.

- Профиль! У неё левый профиль, понимаешь ли, хуже! - хохотал он...

Это меня спасло. Потому что, если бы я начала не с профиля, а с того, что не устраивало меня в мизансцене по сути, он бы меня за милую душу выгнал или с роли снял. А так, когда он отсмеялся, я, уже в положении дурочки из переулочка и, как бы размышляя вслух, сказала: «А вот если из левого угла я пойду к рампе по диагонали, то это будет как стрела, выпущенная в зал, нет?»

- Ну-ну, давай пойдём...

Пошла.

- Надо подумать, что-то в этом есть, - сказал Женя. - А с профилем – уж прости, мать! – ничего глупее не слышал.

Стол в результате стоял справа. А я до сих пор считаю, что справа-таки лучше).

И вот в репетициях настал тот момент, когда решался вопрос костюмов, грима и так далее. То есть спектакль шёл на выпуск. И Лебедев, перед тем как мы двинулись в

костюмерную, совершенно как само собой разумеющееся произнёс: «Не забудь про толщину, мать». Я остолбенела: «Какую толщину, Евгений Алексеевич?»

- Обыкновенную. Ты же не будешь играть Вассу в этом своём виде, - сказал он, оглядывая меня с ног до головы и явно имея в виду мою субтильность.

- Я толщину не надену, - твёрдо сказала я.

- Ты толщину наденешь, - безапелляционным тоном изрёк он и повернулся уходить. Не двигаясь с места – как сейчас помню – стоя посреди сцены и чувствуя, как от лица отливает кровь, я повторила: «Я толщину не надену. Потому что это совершенно не соответствует тому, что я делаю в роли».

- Она – делает – в роли, - по складам проревел Женя. - Она, понимаешь ли, делает...

А я, не давая ему закончить фразу – меня уже понесло – Это не соответствует тому, как она написана у Горького. Это не купчиха Островского, она – не ретроград, она умная, совсем не старая, страдающая женщина, она – предтеча Софьи в Зыковых, да разве может у Вассы в толщине быть этот стремительный выход, вы же его не отменили, вам же нравится этот выход! Почему вы сейчас хотите всё переиначить. Это же другая трактовка. И зачем вы меня назначали тогда на роль, если считаете, что моего внутреннего веса не достаточно? И почему ни разу не дали репетировать второму составу?

- Девчонка! Что ты знаешь, что ты понимаешь о «внутреннем весе!», - заорал Женя, с каким-то презрением произнося «внутренний вес», - Соплячка!

Я же, уже совершенно не контролируя себя и тоже переходя на крик и чувствуя, что сейчас зарыдаю:

- Я не девчонка, Евгений Алексеевич, мне уже, слава Богу, не восемнадцать лет, и я уже кое-что понимаю, и я кое-что пережила, и мне, если хотите знать, уже...

В этот момент Лебедев, во время моего монолога двигавшийся в мою сторону, подошёл ко мне вплотную и я, честно сказать, испугалась: мне показалось, что он мне сейчас врежет оплеуху. Но он, перехватив мою руку, которой я жестикулировала и прямо глядя в глаза тихо произнёс: «Мать, отойдём-ка в сторонку!»

Уведя меня со сцены, он сказал: «Запомни, мать, вот что. И не просто запомни – заруби себе на носу. Внешность у тебя, скажем так – неординарная. Ты выглядишь взрослой, взрослее своих лет. Ты почти, думаю, достигла той кондиции, которую сохранишь на много десятков лет. И вот, когда тебе и впрямь лет будет немало, смею тебя заверить, злые языки, когда хорошо будешь выглядеть, будут говорить: «Господи, ну, выглядит, а лет ей-то знаете сколько? Она уже одной ногой в могиле».

- Евгений Алексеевич, почему вы такое говорите, зачем они будут это говорить?

Женя сощурил глаза и процедил: Ты думаешь, что в театре с тобой будут обращаться, как сейчас, как в институте, как с цацей, на руках носить?

- Меня никто не носит на руках, Евгений Алексеевич.

- Ну, любят же? Наперебой ведь играешь у ребят на режиссёрских курсах и ребята на курсе тоже хорошо относятся, так же? (Он, кстати сказать, дважды заглядывал на показы у режиссёров). Не будет этого, запомни! Да, за твоей спиной будут шипеть и шипеть. И пакости делать. А случится выглядеть плохо, вот как сейчас – не спала, что ли всю ночь, загуляла? – будешь выглядеть плохо, тут же скажут: «Подумать только, ей и тридцати нет, а выглядит на все пятьдесят». Так что помалкивай, о твоём возрасте – другие поговорят. Поняла?

- Я поняла, Евгений Алексеевич.

Хотя на самом деле так тряслась, что осознала сказанное уже много позднее, пересказывая случившееся своим подружкам. И, боже мой, как всё сбылось! И шёпоты, и злоба, и наветы, и всё, что касается облика. И моё собственное ощущение времени, взаимоотношение с ним, внушённое Лебедевым. Но главный, пожалуй, урок – решимость отстаивать свои позиции.

Правда, с годами – я говорю о театре – я научилась всевозможным уловкам в общении с режиссёрами, особенно не слишком умными, умению добиваться своего, избегая по возможности конфронтации. Наука не из лёгких. Но первый опыт был обретен тысячу лет назад, на сцене учебного театра, в борьбе за выход из левой кулисы. И вслед за этим – за свою трактовку. Которая, до сих пор считаю, была принята Лебедевым во внимание при работе над «Мещанами».

Что до «Вассы», то спектакль получился навывлет, и Гога широко улыбался после премьеры, и цветы приносили зрители, а знаменитая Беньяш водила на «Вассу» даже приезжих иностранцев.

Это был первый спектакль, увиденный моей мамой и убедившей её в том, что кое-чего я всё-таки стою, и убежала из дому, бросив технический вуз, не зря.

На премьеры Вассы к моим первым двум истым и верным поклонницам, подружкам – театроведкам Нине и Тане прибавилась и моя мама. С тех пор ни одной премьеры, пока она была жива, как и мои подруги, не пропустившая.

А годы – годы что ж? Все мои. Никуда от них не деться. Как и от конца. Хотелось бы, конечно, встретить его весёлой и молодой. Но это уже как распорядятся небеса. У всех своя судьба...

Леонардо ДаВинчи. Джиневра де Бенчи

Почти как в юности, в гадании, которым баловалась, изумляя себя и окружающих: что было, что будет, чем сердце успокоится. Вовремя остановилась, «Пытать судьбу – несчастной быть», - сказала мне одна старая, мудрая и очень добрая женщина, испытавшая на себе, чем чревато это «пытать судьбу». Испугалась буквально в одночасье, зареклась и никогда никаких поползновений не делала.

А сердце успокоить без всяких предсказаний, всего легче либо музычку послушать (партиты Баха особенно умиротворяют), либо – на любимую картину насмотреться всласть.

Та, что у нас в Национальной галерее, когда-то висела у нас с Алёшей: такие репродукции были в Союзе, холст на подрамнике – Леонардовская Джиневра. А потом появился ещё один Леонардо: Саша Годунов, с которым дружила очень, привёз из гастролей с балетом Моисеева. Почему-то пришёл, вернувшись из поездки, не домой к нам, а прямо в театр. И наш бутафор, увидев, сказал: «Дай мне на пару дней, я тебе подарок сделаю».

Понимаю, что наклеил на доску, потом как-то залачивал или ещё что-то проделал, и практически все, кто приходил в гости, столбенели перед ней. Даже опытные товарищи не сразу понимали, что это не копия...

Увезти не дали.

А через много лет, когда была в Москве, обнаружила, что она жива, правда, держали её совершенно nepотpeбно – на полу, но всё-таки выжила. И вот теперь живёт у нас в Вирджинии.

В зависимости от того, как падает на неё по вечерам свет, меняет выражение лица. Так мне кажется во всяком случае... А вот из какого она музея – до сих пор спорим. Алёша говорит, что привёз её Саша из Парижа, я почему-то помню, что из Германии... И на том стою.

Левкои и Гулаг

«Как жалоба на неизбежность рока
Их мягкий, сдержанный, стыдливый аромат ...»

Её звали Клеопатра Ивановна. Это была сухонькая старушенция, состоявшая вся из острых углов и производившая при движении какой-то странный шелестящий звук, как будто этими острыми углами она задевала пространство, и оно, чувствуя исходящую от неё недоброжелательность, отвечало вздохами и жалобами.

Я снимала у неё комнату в верхнем, втором этаже такого же ветхого, как она, флигелёчка. Собственно, комнатой это назвать нельзя было: это была каморка-пенальчик, означенная в объявлениях о сдаче как «меблированная». С интригующей припиской «и с красочным видом». Она-то меня и подцепила на крючок. Состояла эта «меблировка» из узёхонького топчанчика с торчащими пружинами, платяного шкафа, достоинство которого заключалось в зеркале внутри во всю створку, (было показано мне при осмотре!) и зыбкого столика, притиснутого к окну.

В этом окне и было главное достоинство, что ли, этой конуры: оно выходило на Нескучный сад, хотя дело было не в «красочности вида», вид был как вид, но вечерами – время было летнее – мою каморку заливали волны тревожной и сладко-томительной мелодии вальса и нежного запаха левкоев, навсегда связанного с тех пор в моей памяти с этим таинственным вальсом. Несколько тактов время от времени всплывают в моей памяти, чаще всего неожиданно, без всякой видимой причины, и я в который раз бросаюсь в очередные – тщетные, увы! – попытки отыскать этот вальс.

Не так давно, когда я искала музыку для нового спектакля и поняла, что одно из стихотворений в нём должно возникать из вальса, я, прослушав бесчётное количество старинных вальсов, услышала один, чем-то напомнивший вальс Нескучного... Но это сходство лишь усилило огорчение, когда, дослушав до середины примерно, поняла, что нет, не он... Ясно было, что только случай может подарить мне тот незабвенный и длившийся совсем недолго левкойный рай.

И вот этим летом, увидев в руках у вошедшего с покупками Алексея внушительный букет левкоев, точнее, сначала – учуяв его, а потом и увидев, я присела от восторга (левкои здесь редкость!) и побежала ставить цветы в воду, бормоча под нос

«люблю я их в та-та-та-та – люблю я их каком-то там покое, в тари-ри-ра покое: «Алёша! - кричу из кухни, - в каком покое»? Входит, и с недоумением: «Ты о чём»? Напеваю мелодию: «Люблю я их... - и опять, - тари-ри-ра... Ну, левкой. Романс». Качает головой – не помню... «Романс, который у нас был в нашей программе: в покое, на письменном столе...» – «Клянусь, - говорит, - не помню».

- Не помнишь, что был, или не помнишь слова»?

Чуть-чуть извиняясь: «Не помню, что был».

И тут уже начинаю недоумевать я, но, зная, что любит меня разыгрывать: «Ладно, - говорю, - кончай, не помнишь слов, и не надо».

- Да ты возьми нью-йоркскую кассету, - говорит Алёша, - и послушай».

Начинаю искать кассету, нахожу. Читаю список – романа в нём и впрямь нет. И тут же вспоминаю, где и как записывалась кассета, и следом – целый год нашей нью-йоркской жизни, когда сделали программу «Любви старинные напевы», и поездки с ней на взятом в прокат Форде в несколько городов на восточном побережье, а потом – в Канаду. Опять-таки, как в другом романсе: многое вспомнишь, давно забытое.

А записывали мы кассету у нахрапистого предпринимателя по имени Конев. Та ещё была, скажу я вам, «студия звукозаписи». Но ставшие нашими большими друзьями старожилы, эмигранты первого и второго поколений, уговорили, что записать нужно. Кстати, им в первый раз и пели многое из программы в доме Леонида Денисовича Ржевского и его чудесной жены Гани, в первую нашу встречу Нового Года на Новой земле.

«Раз повезёте программу по городам и весям, - внушали они, - надо иметь кассету. На концертах всегда покупают».

Ну, вот: послушались совета, нашли объявление этого Конева в «Новом русском слове» и по неопытности даже не сообразили оговорить элементарной охраны авторских прав. А он, надо сказать, содрал с нас, в те времена совершенных бедняков, немалую сумму, довольно долгое время кассеткой приторговывал.

Но, возвращаясь к кассете: читаю список на обеих сторонах и вижу, что «Левкоев» в ней действительно нет, и вспоминаю, что многие романсы остались за скобками, не уместились. А текст всё крутится в башке, и – озарение: в Гугл, конечно в Гугл. И нахожу не только слова забытого романа:

«Люблю я их. В мечтательном покое
На письменном столе среди бумаг и книг.
Они живут последний краткий миг,
Мои печальные, поникшие левкой...»

но и имя автора, в ту пору нам неизвестное, и его историю.

Борис Алексеевич Прозоровский прожил короткую и трагическую жизнь и известно о ней очень мало. Власти потрудились на славу, чтобы имя его, как и многих других, не отвечавших требованиям «пролетарской культуры», было забыто. Как дворянин и композитор «мещанской» музыки, он был арестован и отправлен на три года для «исправления» на Беломорско-Балтийский канал. А вслед за этим попал под приказ Ежова.

Ни точная дата его расстрела, ни место не известны. Один из многих. Ставлю многоточие... Вспоминать иногда нужно, хоть и больно...

Итак.

Выходец из обедневшей дворянской семьи. Родители прожили вместе недолго, разошлись, воспитанием сына занялась мать. Музыкальное дарование сына стало очевидным очень рано, тогда же в раннем детстве обнаружилась его тяга к сочинительству, но стеснённые денежные обстоятельства вынудили его пойти по стопам отца и получить медицинское образование.

В Первую Мировую войну Прозоровский служит военным врачом в лейб-гвардии Волынском полку, но занятия музыкой не бросает. Первые из сочинённых в ту пору романсов он публикует в сборнике «Песни печали и любви».

Революция застаёт его в Тифлисе, перебраться куда помогает отец. Здесь же начинается его успешная концертная деятельность. Вскоре, вместе с исполняющей его романсы Тамарой Церетели, которой он аккомпанирует, Прозоровский перебирается в Москву. Их выступления пользуются огромным успехом. У них – лучшие концертные площадки страны, включая Московскую консерваторию и Колонный зал, даже приглашения за рубеж.

Однако, в конце 20-х годов НЭП сворачивают. Неудобным оказалось все, что напоминало о нем, в том числе и романс, который партийная власть опять объявила упадочническим жанром. В феврале 1925 года против Прозоровского сфабриковано дело «о даче взятки за концерт». Он арестован и выслан из Москвы с запретом на выступления в столице сроком на 3 года. Помогли гастролы в Крыму и на Кавказе.

В 1927 году фирма «Музпред» делает грамзапись лучших романсов Прозоровского в исполнении Церетели; ноты этих романсов издаются огромными тиражами. Срок запрета на выступления в Москве истекает, Прозоровский возвращается в Москву. Но выступать вместе им остается совсем недолго. Весной 1929 года на состоявшейся в Ленинграде Всероссийской музыкальной конференции было окончательно решено запретить исполнение и издание романсов, так как «наряду с религией, водкой и контрреволюционной агитацией музыка «этого типа», заражая рабочего нездоровыми эмоциями, играет не последнюю роль в борьбе против социалистического переустройства общества».

В 1930 году на Прозоровского поступает донос. Работата врачом спасает его от гибели.

В 1933 году опальный композитор освобождён и возвращается в Москву. Времена, как обронила однажды Ахматова, пока ещё «вегетаринские». Но ненадолго.

1 декабря 1934 года (в день убийства Кирова) по личному указанию Сталина ЦИК СССР принял постановление «О внесении изменений в действующие УПК союзных республик», упрощавшее процедуру судебных разбирательств. Первая волна репрессий затронула оставшихся «представителей старой интеллигенции и дворянства», поголовно объявленных «белогвардейцами». За несколько месяцев в Москве и Ленинграде десятки тысяч человек были арестованы и отправлены в лагеря.

Для Бориса Прозоровского третий в его жизни арест обернулся ссылкой в город Свободный, возле Благовещенска. А 31 июля 1937 года издаётся приказ наркома внутренних дел Н. И. Ежова: «Предписываю начальникам республиканских, краевых и областных УНКВД в течение 4 месяцев, с августа по ноябрь 1937 года, провести операцию по изъятию и репрессированию антисоветских и социально опасных элементов, которые содержатся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселениях и колониях, а также членов их семей, способных к активным действиям».

Были определены две категории наказания. Прозоровский попал под первую. Ни точная дата его расстрела, ни место не известны.

В 1957 году Прозоровский посмертно реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Падуя (Авария)

В Италию в том году я попала благодаря случайности. Это был один из тех случаев, о которых говорят: не было бы счастья – да несчастье помогло. И называлось это несчастье Бермудами.

Всё в том 2005-м складывалось под знаком решительных перемен: кончался один период жизни и ждал своего начала другой, настырно выстукивая у виска молоточком: если не сейчас, то когда? И тут судьба и подсунула вариант под соусом предельной усталости: сил на то, чтобы пуститься на активное освоение новых пространств не было никаких, и мы выбрали круизный вариант.

Первое такое путешествие пару лет назад было продиктовано желанием увидеть Аляску, а ещё более – побывать в Сиэтле, в который влюбилась заочно и буквально грезила им. А корабль на Аляску отплывал именно оттуда. Разумеется, если бы аляскинский круиз разочаровал, ни на какой другой я бы не отважилась. Но – удался, и теперь ночное небо над океанскими просторами, который предстояло преодолеть, и неспешные прогулки по Бермудам казались заманчивым вариантом отдыха.

В этот раз круиз начинался в Филадельфии. Город я люблю, решили приехать за два дня до отплытия и побродить, благо дело, там живут наши хорошие друзья. На обратном пути, как и было условлено, мы опять провели день в блужданиях по городу, а

на другой, отданный застольям и воспоминаниям в их чудно гостеприимном доме, ближе к ночи я начала испытывать странное беспокойство, а вслед за этим сформулировала его вслух: надо ехать домой, не дожидаясь утра.

«С ума сошла», - взъерепенился Нолик, хозяин дома, - Ехать! Ночью! Ну, не будь ты занудой, не омрачай веселья, когда мы ещё соберёмся посидеть вот так».

Я долго упорствовала и, наконец, скрепя сердце уступила. На душе было нехорошо и больше всего досадовала на себя: уж сколько раз убеждалась в том, что интуиции своей нужно доверять.

Мальвина и Бах

Кажется, сейчас почти невероятным моё решительное, чтобы не сказать – враждебное, нежелание разделять в детстве пристрастие моей учительницы музыки Мальвины Абрамовны к Баху.

Сейчас ничто так не спасает от душевной смуты как его партиты. А слушанная-переслушанная в миллионных вариантах токката и фуга, которую, по-моему, знают все, сыграла в моей профессиональной жизни совершенно невероятную роль. Но пора остановиться и – произнести тост.

С днём рождения Баха, человеки!!! Великий подарок миру был сделан почти три с половиной столетия назад...

Однако, ещё несколько слов о Мальвине.

«Наконец-то я услышу настоящую музыку». По преданию, это были последние слова, произнесённые перед смертью 28 июля 1750 великим Иоганном-Себастьяном Бахом (21 марта 1685-28 июля 1750)

Мой рассказ навеян этими словами. Мальвина Абрамовна преподавала фортепьяно в музыкальной школе-семилетке, в которой я училась параллельно школе обычной.

Вряд ли можно было придумать для неё имя более неподходящее, чем это цветочно-сказочное. Она была не просто некрасива, но некрасива вопиюще. Маленькая, слегка сутуленькая, с паклеватыми серыми волосиками, подколотыми детскими заколочками, с глазами, сквозь толстенные линзы очков в роговой оправе напоминавшими лягушачьи.

Квартира, в которой она жила со своим мужем, была коммунальной и уроки мне и ещё нескольким ребятам, попавшим в разряд её фаворитов, она давала что называется «на дому». Странная это была бездетная пара. Меня изумляла нежность и почти благоговейная предупредительность к Мальвине её мужа, на цыпочках удалявшегося из комнаты, когда я переступала порог комнаты, доставала ноты и садилась к инструменту. Иногда я слышала, как он, наклонившись к ней, спрашивал: «Тебе ничего не нужно, Мальвиночка, всё в порядке? Ну, я тогда пойду, посижу у Семёна».

Он не то чтобы отличался какой-то там особенной внешностью, но был вполне ничего себе, довольно рослый мужчина, слегка уже начинавший полнеть, правда. Изрядно лысоватый – фыркала я про себя, сравнивая их и засчитывая его лысоватость как бы в пользу Мальвины.

Порой я разглядывала его исподтишка, когда по какой-то причине «посидеть у Семёна» не получалось, и он оставался в комнате, усаживаясь в кресле подальше от рояля. «Чтобы не смущать», - непременно говорил он в таких случаях, и бесшумно сидел у окна.

Разглядывала я его, кстати сказать, с пристрастием, пытаюсь разгадать: и впрямь ли он так к своей Мальвиночке нежно относится, не лицемерит ли? В любом случае, я была на её стороне, даже понимая, до какой степени она некрасива, а он всё-таки, как ни крути, представителен и благообразен.

Комната, в центре которой стоял огромный рояль, и сама была огромной. Подозреваю, что в былые времена она была «зальной»: в ней вполне можно было устраивать какие-нибудь домашние музицирования или даже танцы. Часть её, выполнявшая роль спальни, была отделена не доходящей до потолка перегородкой, за которую он порой, покинув свой дозорный пункт у окна, удалялся.

Я думаю, Мальвина меня любила. Сообщая мне иногда, когда была особенно довольна мной, о том, что я «очень способная девочка», она возвращалась к идее о необходимости после семилетки «идти дальше», как она говорила.

Однажды, когда она в очередной раз обратилась ко мне с этим призывом, я чётко произнесла: «Я фортепьяно бросать не буду, мне это может пригодиться на сцене, когда я стану актрисой, так что не волнуйтесь, Мальвина Абрамовна».

Мой апломб, судя по всему, её ошеломил: глаза её полезли на лоб, чуть не выпрыгнув из чёрной роговой оправы. Но и вызвал, судя по всему, уважение: свои призывы идти учиться дальше она оставила, а любовь ко мне – ну, если и не любовь, то благосклонное отношение, от этого не уменьшилась и, думаю, было продиктовано не моими способностями.

Однажды она стала свидетельницей моей перебранки с мальчишками, сопровождавшими мой проход по двору скандированием дурацкой дразнилки: рыжая, бесстыжая, с бородавкой на носу, жрёт чужую колбасу. Чаще всего подобного рода вещи меня оставляли равнодушной, но в этот раз во мне соскочила какая-то пружинка, и я полезла в драку, пустив в ход свою большую сумку с нотами. Они совершенно неожиданно ретировались, а я, пыхтя и бормоча ругательства, вошла к Мальвине.

Вид у меня, видно, был аховый, потому что она, переглянувшись с мужем, сказала: «Детка, садись вот сюда к столу, попьём чаю прежде, чем начать. Ты уж извини, мы не успели до твоего прихода. Ну, ты знаешь, где у нас туалет...» - именно так, туалет! - «вымой руки и приходи».

В туалете я и увидела, как я выглядела: распатланная и почти, как мне показалось, пунцовая. При моей обычной бледности это должно было произвести впечатление на Мальвину. Вот до сих пор думаю, что она испытала в тот вечер что-то вроде родственных чувств ко мне: всё-таки я никак не попадала в разряд хорошеньких, благообразных, смазливых девочек. Да ещё и рыжая, да ещё и в веснушках, да ещё кожа да кости.

Своё отношение Мальвина Абрамовна выражала довольно необычным образом. У неё была страсть: она боготворила Баха, даже имя его она проиносила дребезжащим от волнения голоском, и ей и в голову не могло прийти, что я эту её любовь совсем не разделяю. А она, задавая мне разучить очередную фугу, обставляла это с такой торжественностью, словно преподносила драгоценный подарок. Случалось, что она решала мне показать, что за чудо меня ожидает, менялась со мной местами и благоговейно произносила: вот послушай, девочка, вот это место. Если муж в такие минуты был в комнате, он тихонечко на цыпочках подплывал к роялю и с молитвенным выражением на лице слушал вместе со мной.

Близорука Мальвина была невероятно, даже толстые линзы её очков не слишком, видимо, помогали: ноты читала, почти касаясь подбородком пюпитра и, чуть ли

не перебирая им нотный лист. Среди её учеников на дому был премиленький мальчик с ангельской внешностью, Володя Воробьёв. Чаще всего его урок шёл после моего, и вот, когда Мальвина Абрамовна была в ударе и играла мне, уже показав какое-то место, на которое я должна обратить внимание в заданной фуге, что-то из своего любимого, слушателем оказывался и Вовочка.

Вовочка, хоть и выглядел как херувимчик, был до невозможности хулиганист и очень смешлив. В его присутствии урок с Мальвиной, как мы её называли, превращался в борьбу с дикими приступами смеха: она, играя Баха, громко и как-то плотоядно мычала, а я, скашивая глаз на Вовку, видела, что он корчит страшную рожу, умудряясь воспроизводить не только выражение её лица, но и дикую косоглазость. Сразу же оговорюсь: эта наша подлость ничуть не означала, что мы Мальвину не любили.

Её доброта с лихвой окупала её уродливость, а мы, хоть и были и охломонами, понимали, что она всё-таки не от мира сего, и эту её доброту чувствовали и ценили.

Заразить меня любовью к фугам Баха Мальвине Абрамовне в ту пору не удалось. Дома дико жульничала, разучивая очередную фугу, и подводила часы, чтобы пораньше встать из-за пианино. Но моя бабушка Вера, поймав меня однажды, зорко следила за тем, чтобы переводить на часах стрелки я не могла: просто уносила их в кухню и при первой же попытке отойти от инструмента, нежно выплывала мне навстречу с будильником в руках.

Случалось, правда, иногда, когда я уже зная заданное наизусть, решала поиграть «просто так», что-то во мне порой ёкало и будоражило. Но по-настоящему я «услышала» Баха лет в пятнадцать, уже отучившись в семилетке. Сначала это была органная музыка, а вслед за ней и всё остальное.

Пригодились ли мне уроки с Мальвиной, как я заявила ей однажды, на сцене? Нет, не случилось играть никогда. А вот Бах... Мальвина Абрамовна была бы счастлива узнать, что её страсть завладела и мной, поселилась и во мне, что часто музыка её любимца спасает от душевной смуты, открывая совершенно невысказанные горизонты. Порой, вспоминая своё заявление Мальвине о том, что она не должна волноваться, что с музыкой я не расстанусь, и что она мне пригодится в театре, я улыбаюсь и думаю: ведь пригодилась, и не просто музыка, а музыка её любимца небожителя Баха, судя по всему не державшего на меня зла за непочтительность к нему в былые времена и сделавшего мне в самом начале моей жизни на сцене воистину царственный подарок. Но сегодня – не об этом, сегодня про благодарную память о его верной и преданной служительнице, о моей учительнице музыки Мальвине Абрамовне.

Лебедев (Маяковский).

«А за ним на три версты распустил свои хвосты два огромных крокодила – как их мама уродила...»

Это я не притворяюсь, что все стихи наизусть помню, хотя – многие. Просто этот читала на вступительном экзамене в театральный вместо басни (в Питере), чем очень удивила и насмешила публичку... Лебедев прилёг просто-таки грудью на стол, и даже Сонникова колыхалась всей своей массой...

Уже после третьего тура, как донесла разведка, они бросали жребий, кому я достанусь на курс. Победил Лебедев, чему я весьма радовалась.

Мидлбург

В одно из последних, воскресений октября, почти по-летнему тёплых, мы выбрались в Мидлбург, маленький вирджинский городок в получасе езды от нашего дома.

День был ослепительно солнечный. словно предчувствуя, что осень неминуемо заговорит во весь голос, местные жители высыпали на улицы поодиночке и целыми семьями. От приезжих их было легко отличить по степенной неторопливости, с которой они прогуливались по Главной улице целыми семьями, останавливаясь на перекрёстках, чтобы перекинуться словом со знакомыми, в то время как детишки нетерпеливо дёргали папаш за полы пиджаков или цеплялись за материнские юбки, очевидно напоминая им, что у их воскресного выхода есть некая конечная цель. Думаю, мороженое явно входило в список обещанных радостей: когда, подустав от жары, мы зашли в кафе-мороженое, названное на старый лад Parlор, а не кафе, там буквально иголке негде было упасть.

Так что, от затеи этой мы решили отказаться, тем более что в программу нашей поездки входил традиционный обед в таверне «Рыжая лисица».

Надо сказать, что у городка этого довольно интересная история. Основан он был в 1787 году подполковником революционных войск (сражавшихся с Великобританией за Независимость) Джоном Пауэллом. Пауэлл приобрёл в собственность обширный участок земли, принадлежащий двоюродному брату Джорджа Вашингтона Джозефу Чинну. На этом месте и был основан город. Пауэлл переименовал Перекрёсток Чинна – так называлось это место – в Мидлбург, так как он находится ровно посередине между Александрией и Винчестером, на популярном торговом пути вдоль Пятидесятой дороги, которая, уходя на восток пролегает мимо нашего дома и Арлингтонского кладбища в направлении столицы.

Охота на лис в этом районе Вирджинии началась около 1748 года, когда Томас Фэйрфакс (Лорд в шестом поколении) завёл первый выводок гончих в стиле британских лисьих охот того времени.

А после основания Мидлбурга, городок стал местом паломничества любителей охоты и скачек и даже завоевал репутацию «Национальной столицы скачек и охоты».

В разное время в городе жили Элизабет Тейлор и Роберт Дюваль. Приезжал сюда и Джон Кеннеди в пору его президентства.

Его климат прекрасно приспособлен к выращиванию винограда, и более 20 виноградников в его округе стали одним из десяти лучших районов виноделия в мире.

В чём, возвращаясь к цели нашего путешествия, мы ещё раз убедились, отведав прекрасной кухни в «Рыжей лисице».

Монастырский. Возврат в Москву.

В моей профессиональной жизни в то время это был тяжёлый период: конфликт с властями завершился запретом работы в Москве, я стала «вольнонаёмной» и разъезжала по стране с концертной версией «Медеи» и двумя одноактными пьесами Кокто. Мама воспринимала всё происходящее в сто раз болезненнее, чем я: я-то, сражаясь с властями,

чувствовала себя героиней и была полна боевого пыла, мама видела только те потери, которые я несла в этом сражении.

Вскоре, впрочем, судьба опять заявила о себе, довольно неожиданно при этом. Режиссёр Валерочка Тищенко, ставший моим верным и преданным другом, узнал о том, что в Куйбышевском театре аврал: репертуар театра, в котором практически во всех спектаклях была занята ведущая актриса, остался оголённым. Разразился скандал, связанный с тем, что она делила свою постель не только с главрежем, и он попросту уволил её.

И вот, субботним утром в нашей с Алёшей квартире (помню точно, что это была суббота, потому что мама в тот день не работала и должна была приехать к нам на Русаковскую), рано утром – причём очень рано! – раздался звонок. Звонил художественный руководитель театра Петр Монастырский. Представившись, он изложил ситуацию буквально в двух словах и предложил мне приехать поговорить с ним о возможности приезда в Куйбышев в связи с создавшейся экстремальной ситуацией.

Я, не вполне осознав им сказанное, пробормотала: «Мне надо подумать». Что по сути означало – я должна проснуться.

- Ситуация не терпит отлагательств, Жанна Аркадьевна. (Аркадьевна, это ж надо – мелькнуло в моей сонной башке). Сколько вам нужно на размышление.?

- Три часа, - брякнула я.

Через два часа, придя в себя, я набрала куйбышевский номер и сказала: «В среду. Я могу быть в Куйбышеве в среду».

Позвонивший мне в этот день Валера вопил в трубку: «Ты с ума сошла. Почему ты отложила приезд? Жанна, это очень хороший театр. Ты же сейчас в подвешенном состоянии. Сегодня поездки есть, а завтра их нет. Монастырский в театре полномочный хозяин. Если он тебе, а ты ему понравишься...»

- Валера, не кипятись, - уговаривала я его. - Он же меня не знает, не знает, кто я.

- Он знает, кто ты, он читал о тебе, я ему все уши прожужжал, и это же только предложение. Зачем откладывать?

А у меня вторым планом в голове проносилось: мама, вдруг с ней что-то случится?

Но мама проявила такой оголтелый энтузиазм, справедливо указывая на то, что у неё в Москве сложился свой круг друзей, что здесь остаются мои верные друзья Галя и Герман Плисецкий. И – Валера прав! – это всего лишь встреча.

Так или иначе, встреча с Монастырским состоялась. В переговорах я повела себя неожиданно для самой себя, возможно подсознательно надеясь на то, что мои «условия» не буду приняты. Однако всё – и зарплата, включая зарплату, приём в труппу с перспективой режиссуры Алёши, и даже при условии, что версия «Медеи», с которой гастролировала по Союзу, будет принята худсоветом театра и включена в репертуар.

Я вынуждена упустить целый ряд подробностей работы в Куйбышеве. Скажу только, что это были благословенные годы, во всех смыслах. У меня установились ровные уважительные отношения с Монастырским, с актёрами, с гримёрами – со всеми. И даже, что уж совсем невероятно, ко мне расположился куйбышевский райком.

И вот, когда уже зашёл разговор о перспективе получения «звания», когда куйбышевские власти дали нам замечательную двухкомнатную квартиру в новом доме, когда был осуществлён ввод в старые спектакли и состоялось целых две премьеры новых, прозвучал тревожный звонок: притаившаяся проклятая болезнь снова заявила о себе. Ещё ничего страшного, ничего катастрофического и, возможно, я бы не рванула в Москву с

оголтелой безоглядностью, если бы не настойчивые уговоры полубезумного режиссёра, получившего в Москве театр (оставляю фамилию за скобками, не о нём речь, и не в нём дело). Но его бесконечные звонки и грандиозные планами, которыми он делился, я поняла: сейчас или никогда. Чем прочнее я входила в Куйбышеве в репертуар, тем тяжелее и бесчестнее будет его покидать.

Сейчас, когда я размышляю о моём возвращении в Москву, где к тому времени поулеглись страсти, связанные с моим запретом на работу, я прослеживаю определённый вектор своей жизни: постоянный побег от стабильности и возможности вписаться в систему. Всякий раз, когда жизнь ставила меня перед выбором: профессиональный успех и карьера – и мои убеждения, я делал его почти без колебаний.

В данном случае меня всерьёз напугала стабильность и вписанность в систему. Ночами я с ужасом вспоминала слова «вы представляете себе, Жанна...», и понимала, что вместе с прочным положением я утрачу свободу и вместе с ней что-то такое, к чему была призвана. Чего словами не назвать.

А уж когда речь заходила о том, чтобы бросить любимого человека в беде – все соображения отходили на задний план. Мой возврат в Москву сопровождался сюрпризом: нервное состояние, которое я приписывала мукам принятия решения, оказалось объяснимым очень просто: парки продолжали вязать нити моей судьбы: я ждала ребёнка.

Дима Михайлов (Моцарт и Сальери).

О том, что мы решили эмигрировать, «сваливаем», как говорят сейчас, знали только наши очень близкие друзья и те знакомые, которым можно было безоговорочно доверять. Возвращаясь в это, теперь уже воистину «историческое» время, я понимаю, что особенность нашей ситуации заключалась в том, что на наших плечах лежал по сути весь репертуар Литературно-драматического театра, где мы тогда работали.

Как правило, находившиеся «в подаче» лишались работы и до самого момента выезда из страны (длившегося у некоторых порой несколько лет) перебивались кто – как и чем может.

Директором театра в ту пору был некто Галилов, изрядный пройдоха и плут. Прежде чем относить документы в ОВИР, Алексей сообщил ему о нашем решении. Реакция была не просто неожиданной, она нас ошеломила. «Я этого не обязан знать, - сказал он. - Я всегда держал вас за очень умного человека. Думаю, чем меньше людей будут об этом знать, тем будет лучше для вас и для театра». До сих пор можно только гадать, как случилось, что до самого упора, вплоть до того момента, когда мы получили долгожданное добро, мы не просто работали, но сумели сыграть самые дорогие нам спектакли в последней гастрольной поездке. И среди них «Там, вдали» по повести Шукшина с песнями Высоцкого.

Была в труппе театра актриса, практически ничего не игравшая. Таких было много, но, в отличие от многих, она всё-таки «работала», выполняя какие-то месткомовские функции, и, в отличие от многих функционеров, производила впечатление порядочного человека. Мне было почему-то её всегда безумно жалко, и я решила «подарить» ей свою роль, введя в последний из сыгранных мной спектаклей «Уволить Калинкина», заручившись поддержкой его режиссёра, Валеры Тищенко, ставшего моим хорошим другом ещё во время работы в театре Станиславского.

Я, конечно, рисковала: нужно было сообщить ей о нашей предполагаемой эмиграции. Приходилось мне в моей жизни встречать людей запуганных, она же производила впечатление не просто запуганного, но боящегося собственной тени. Однажды во время репетиции, она сообщила мне шёпотом, оглядываясь по сторонам, что меня жутко насмешило – репетировали у нас дома, и предположить, что нас «слушают», было бы большой натяжкой – так вот, она сообщила, что отец её подвергался репрессиям и сидел. Я хотела было расспросить подробности, но поняла по её виду, что этого делать не стоит.

Тот факт, что она отважилась прийти попрощаться с нами, когда мы получили долгожданное добро на отъезд, был равносителен с её стороны подвигу. Конечно, сыграла роль благодарность за роль, но к ней примешивались, как мне кажется, ещё и угрызения совести. Задышающимся голосом, отозвав меня в сторону, она рассказала, что в Нью-Йорке живёт эмигрировавший несколько лет назад старый друг, что она боится поддерживать с ним связь: «Ну, ты понимаешь почему», - сказала она, сделав страшные глаза, имея очевидно в виду репрессированного отца. Сунув мне в руку записочку с его именем, она сказала: «Жанна, я просто умоляю тебя разыскать его!» Я, не удержавшись, спросила: «Чтобы извиниться»? И, тут же, пожалев о сказанном – вид у неё был жалкий – пообещала разыскать.

Разумеется, заботы наши в первые месяцы жизни в незнакомой стране вращались совсем не вокруг поисков потерянных друзей и, кто знает, я, может быть, и не скоро вспомнила бы об обещании, если бы в дело не вмешался его величество случай.

В фойе гостиницы, куда нас поселил IRC (Международный комитет спасения), в лежащей на столике газете, раскрытой на странице заметок и объявлений о культурной жизни Нью-Йорка, мы увидели рекламу спектакля «Маленькие трагедии» Пушкина в одном из офф-офф-бродвейских театров в постановке Д. Михайлова. Не может же быть, что в городе есть несколько режиссёров с фамилией Михайлов, решили мы, и душным нью-йоркским вечером отправились на спектакль.

Жара в том незабываемом 81 году стояла совершенно нестерпимая, жарко и душно было и в небольшом театрике, и я смотрела спектакль с удвоенной симпатией к актёрам. Играли «Пир во время чумы» и «Моцарта и Сальери».

Диму мы встретили после спектакля у служебного входа. Он ахнул, услышав русскую речь и, вслед за этим: «Жанна? Боже мой, я ведь вас знаю, то есть, видел, - поправился он. - Что вы делаете в Нью Йорке, о Боже, какая встреча, что же мы стоим здесь, пойдёмте, тут за углом кафе есть».

Когда мы вчетвером уселись за столик (с нами была наша дочка Настя – ей, бедолаге, приходилось в тот год всюду нас сопровождать), и я выполнила свою «миссию», Дима в ответ на переданный привет, горько улыбнулся и, видимо не желая продолжать тему, начал расспрашивать о нашем впечатлении от спектакля. Не думаю, что стала бы говорить так свободно и откровенно, как говорила, если бы между нами мгновенно не возникла симпатия и доверие, что ли. Я призналась, что мне всегда казалось нелепым, что Моцарта играет в этой пьесе мужчина. Он очень изумился, а я объясняла, что, по моему мнению, это, скорее, драма идей, и когда ее начинают решать, наделяя персонажа обликом, непосредственно связанным с историческим лицом, Моцартом, то есть, спектакль уходит в другую плоскость, утрачивает свой философский смысл.

Так или иначе, знакомство состоялось, Дима молитвенно просил нас не стесняться и, в случае чего, не колеблясь обращаться за помощью. Время от времени мы

перезванивались, встречались пару раз (Дима приобщал нас к нью-йоркской жизни), и вот через некоторое время, когда мы уже обзавелись жилищем в верхней части Манхэттена, Дима позвонил и сказал, что ему очень нужно с нами переговорить. Безотлагательно.

Придя к нам, он рассказал, что театр общества «Гнозис» при Колумбийском университете предложил ему вновь поставить «Моцарта и Сальери» и «Пир во время чумы», и что он решил осуществить мою идею.

- Я рада, Димочка, - сказала я, - Бог в помощь, - совершенно не предполагая, что у Димы были на меня «виды».

- Бог, может быть, и в помощь, - ответил он. – Но как насчет вас?

Я сначала опешила, потом начала смеяться, так как идея и впрямь показалась мне смешной, чтобы не сказать нелепой. Потом начала объяснять, почему она неосуществима: хотя бы потому, что я не знаю языка и вряд ли сумею овладеть текстом в короткий срок (дело было в октябре, премьера предполагалась в начале следующего года, в феврале 82-го). Но тут Дима пошёл в наступление, сказав, что язык не преграда, что у него есть целый штат актеров, которые встретили идею с энтузиазмом и готовы с утра до ночи меня и Алёшу натаскивать.

- Давайте я вам покажу, где мы будем играть, - сказал он, когда я выложила все возможные аргументы против, и повёз нас с Алёшей в совершенно потрясающий Собор Святого Павла на территории Колумбийского университета.

Однако собор-собором, а предложение по-прежнему казалось мне чистой авантюрой. Но надо было знать Диму. Во-первых, он был прелестным интеллигентным человеком и обладал способностью убеждать ненавязчиво, но настойчиво – «мягкое проникновение в подкорку», как я для себя определила свойство его методы. Вручив нам тут же текст, он, как бы невзначай, добавил: «Давайте просто познакомимся с вашими репетиторами».

Алёше достался изящный и застенчивый приятель Димы, Сэнди, мне – пышнотелая, темпераментная, громоподобная актриса Гриша. Дело продвигалось довольно споро, а когда дошло «до дела», то есть, когда мы начали репетировать, о том, что мы говорим пушкинский текст по-английски, как-то уже и не вспоминалось.

И вот наступил день премьеры, я стою за порталом, Алёша уже начал свой монолог «They say there is no justice in the world...» («Все говорят нет правды на земле...»), а я впервые в жизни испытываю то, что именуется в психиатрии раздвоением личности. Четкий голос, мой, произносит по-русски: «Это безумие, Жанна, что ты делаешь!» И в ответ раздаётся мой же: “Shut up!” (Заткнись) – на чистом, без всякого акцента, как я думаю, английском языке. (Брань, как выяснилось, усваивается легче всего).

Уж не знаю, в чем тут было дело – возможно, в чрезвычайной снисходительности американской публики, может быть – в некоторой экзотике: первую половину спектакля играют американцы, вторую – русские, да ещё женщина в роли Моцарта. Как бы то ни было, «Маленькие трагедии» были встречены на ура, а «Моцарт и Сальери» был приглашен открывать осенью сезон на одной из площадок Центра исполнительских искусств имени Линкольна. Это, несомненно, было огромной честью, хотя поняли мы с Алёшей, что это значит, только увидев реакцию американских актеров, занятых в «Пире во время чумы» и совершенно потрясенных и – да! – за нас радующихся. Наверное, сыграл роль и тот факт, что это была сто пятидесятая годовщина со дня первого представления «Моцарта и Сальери» в Санкт-Петербурге. И тут опять в нашу жизнь вмешался случай, и как!

Во время спектакля, когда я, то есть Моцарт, в ответ на слова Сальери «Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь», произносит: «Но божество мое проголодалось», в зале, среди смешков отчетливо выделился довольно громкий хохот – совершенно русский, промелькнуло в моем сознании. И точно, это, как выяснилось, был писатель Леонид Ржевский, спустя два дня разыскавший наш телефон и нам позвонивший. О том, что значила в нашей с Алёшей жизни встреча с ним здесь не место рассказывать. Скажу только, что ею открылась новая и совершенно неожиданная страница в нашей жизни в Америке, начавшаяся с поступления на работу на Голос Америки и переездом в Вашингтон.

А нашей с Димой дружбе был отпущен совсем небольшой срок, но перед уходом он сделал мне ещё один подарок. После премьеры цветаевского спектакля «Моё святое ремесло» 4 декабря 1983 года Дима подарил мне крохотную книжечку Беллы Ахмадулиной «Гайна», и это подтолкнуло меня к мысли включить в нашу концертную программу романсов, помимо рассказа цыганки Тани, её стихотворение «Глубокий нежный сад, впадающий в Оку».

Весна 1984 года была его последней. Дима был уже болен, но мы не знали об этом. Он сидел во втором ряду на премьере в Рахманиновском зале программы «Любви старинные напевы», и я, запев «Временем сорваны юности розы», увидела Димино лицо: он плакал.

Теперь я знаю, что в тот вечер он прощался с прошлым, прощался с жизнью.

За день до его смерти я пришла в больницу, принесла ещё тёплым испечённый мной пирог. Знала, что он уже почти не ест, и всё-таки принесла. И Димочка вдруг начал есть и всё приговаривал поразившую меня, странную фразу: «Такой богатый пирог, Жанночка, такой богатый».

Его не стало на другой день. Я позвонила Сэнди, зная, что он собирался в этот день Диму навестить. «Как он, Сэнди?» - спросила

- He's gone, Zhanna, he is gone...

- Что, Сэнди, что это значит? Его нет? Что значит «ушёл»? Его перевели в другую больницу?

- Gone, sweetie, gone... Dima is no more.

Димы с нами больше нет... Сейчас, столько лет спустя, я говорю: «Нет, он не ушёл, он живёт в моём сердце, полном любви и благодарности за то, что в нашей жизни был этот светлый и нежный человек. Дима Михайлов. Димочка...

«Набрела»

Желая разогнать тоску-печаль, отправилась побродить. «И всё шла, да шла и на терем набрела». Правда, на терем в нашем местечке не очень-то «набрёдёшь», их тут много повсюду, и очень затейливых порой, не то что наш домишко.

А зато вот на цветочки, хоть простенькие, но веселенькие, и впрямь набрела. На целый выводок, прямо на обочине шоссе.

Вспомнила в связи с этим словом А. С. Читала дочке в её младенчестве сказку эту, где черница, и «свет мой зеркальце, скажи», и особенно – «гроб качается хрустальный», от которого всегда дыхание перехватывает.

Настенька слушала не шелохнувшись. По окончании чтения никак не комментировала.

Через два дня захожу в комнату – поцеловать на ночь, открывает глаза и таким требовательным голосом: «Как это – набрела? Почему?»

Я прямо остолбенела. То есть, сказка захватила настолько, что было не до выяснения значения незнакомого слова: точнее поняла и приняла как есть, сюжет понятен и ладно. А слово застряло. И вот, решила разобраться. Пришлось объяснять. А я вот и небольшой экскурс в прошлое совершила, и букет ничего себе, на мой взгляд, получился...

Новый дом

К трём годам у девочки в Сокольниках была уже «известность». Нет, точнее будет сказать не к трём годам, а к тому времени, когда ножки её достаточно окрепли, чтобы совершать с Ларисой, как называла бабушку, мою маму, довольно длинные прогулки по нашей улице в сторону парка Сокольники.

Завидев собаку, Настенька решительно начинала направлять движение державшей её за руку Ларисы и уверенно двигаться навстречу. Поравнявшись, останаливалась, как вкопанная, лицом к морде или мордочке – размеры собаки в счёт не шли! – вытягивала ручки по швам и, слегка поклонившись, произносила: «Здравствуйте, собакунчик», повергая хозяина или хозяйку в состояние лёгкого столбняка.

Позднее, когда моей мамы уже не было в живых, свидетельницей подобных эпизодов была и я. Что стало первопричиной такой благоговейной любви и почтения к собачьему роду и абсолютного бесстрашия перед даже вполне монструозного вида животными, сказать трудно. Вероятней всего, начало всё-таки положил собак игрушечный, появившийся вслед традиционной кукле. Довольно скоро Кузя не то чтобы вытеснил из её сердца любимую куклу, но явно перешёл на первые роли. А кукла стала выполнять роль одновременно и медсестры, и учительницы, и няни в маленьком детском зверинце.

С Кузей же девочка не расставалась ни на минуту. Однажды мы довольно-таки жестоко эксплуатнули эту её любовь: в наказание за какой-то проступок, мы сообщили, что Кузя обиделся и решил уйти из дому. Передать всю степень детского горя и нашего ужаса от омпрометчиво выбранного наказания просто невозможно: мы выдержали всего день, потрясённые не только степенью детского отчаянья, но и ошеломительным умозаключением: «бабуленька улетела на звёздочку и позвала к себе и Кузю».

Наши попытки разубедить и заверить, что два эти события никак между собой не связаны, и что Кузя просто где-то бродит и скоро вернётся, потому что тоже не может жить без своей Насти – эти попытки были тщетны! «Бабуля же не возвращается», - горестно возразил нам ребёнок.

Через день Алёша вышел на лестничную площадку с купленной игрушкой, позвонил в дверь, я вместе с Настей вышли на звонок, и на пороге сидел рядом с Кузей собакунчик Бобик. Сцена возвращения Кузи была разыграна по всем правилам, с рассказом о том, как и сам Кузя страдал от разлуки, и как встретил Бобика, и как тот стал его утешать, и как решил вернуться вместе с ним к любимой Кузиной хозяйке.

Надо ли говорить, что очень скоро ребёнок стал всерьёз заговаривать о том, что хорошо бы, чтобы у Кузи и Бобика появился собачий друг, который ходил бы с ней на прогулки не у неё подмышкой или на руках, а на собственных лапах.

Но наша тогдашняя жизнь не позволяла даже в мечтах думать о том, чтобы завести собаку. Мамы, нашей опоры и подмоги, не стало, работа в театре означала, что не только днём, но и вечерами нас не было дома – помогали нам то мои, то мамины подруги и добровольцы из армии поклонников, преданность которых в это довольно-таки тяжкое время была просто потрясающей.

В гастролях дело было проще: днём – с нами, вечером – при театре: пока мы были на сцене, за Настенькой присматривали костюмеры, гримёрши, бутафоры, все, кто мог и хотел. И вот, когда мы уже были «в подаче», и пришло сообщение о разрешении на выезд, вместе со вздохом облегчения пронзила мысль о том, что нам предстоит расставание с дорогими сердцу людьми. Расставание навсегда, потому что в ту пору было очевидно, что никогда в этой жизни мы друг друга не увидим, и даже не известно, сумеем ли поддерживать связь.

Помню, какой беспощадно чёткой линией прорезала эта мысль всё, что роилось в голове. В этом прыжке в неизвестность была ещё одна очевидность: лишается друзей и Настенька.

И вот, когда укладывали все её игрушки и книжки, и дошло дело до уже сильно потрепанного Кузи и вполне ещё ничего себе Бобика, я вдруг с ужасом подумала: а вдруг их не дадут взять в самолёт? Или, чего доброго, начнут вспарывать в поисках бриллиантов? Стало ясно, что рисковать нельзя, что их придётся отправлять в багаже. И тогда-то я и произнесла: «Деточка, они отправляются в плавание по океану, придут на место чуть позже нас.

- Куда – на место?

- Ещё не знаю. Но в любом случае в новом городе Кузя и Бобик найдут настоящего собачьего друга, который будет с тобой гулять.

Разумеется, разговоров о временном расставании с Кузей и Бобиком было много, и вокруг родилось множество былей и небылиц, но ребёнок усвоил главное: его ждёт настоящая живая собака. Обжалованию этот вывод не подлежал.

При чём здесь дом - спросите вы? Терпение. Немножечко терпения. Ибо главным действующим лицом в покупке дома станет именно собакунчик по имени Джерри.

Правда, было бы нечестно не упомянуть и косвенное участие в этом Высоцкого.

Первая передача, которая в результате стала прелюдией к моему, через три года, поступлению на Голос Америки, стала большая программа, сделанная мной в Нью-Йорке на «Свободе», вскорости после приезда. Ещё в Вене я дала интервью работавшей на радио «Либерти» Фатиме Салказановой, узнавшей о моём отъезде от Наташи Горбаневской. Оно, кстати, к величайшему моему изумлению, сохранилось и даже попало в архивы Старого радио. Дала его на следующий день после прилёта.

Наташа же, почти сразу после того, как мы обрели координаты в Нью-Йорке, позвонила мне и сказала, что я должна позвонить Бродскому. На мои возражения она, в свойственной ей в общении со мной категорической форме сказала (менторский тон возник сразу же, чуть ли не в момент знакомства) сказала: «Вопроса звонить или не звонить нет. Ты должна. Я ему сказала, что ты в Нью-Йорке. Он тебя помнит и ждёт звонка».

А я, признаюсь, к тому времени воспринимала Иосифа уже совсем не так, как в пору своего студенчества. Хорошо знала всё, выходявшее из-под его пера уже в Америке и любименное на всю жизнь. Благоговела, иными словами. И твёрдо знала, что благоговеть лучше на расстоянии.

Решиться на звонок было не просто, но позвонила, и он тут же предложил заглянуть к нему вечером. Встречу же завершил, озабоченно на меня поглядывая, фразой: «С этим голосом что-то надо делать».

И начал «делать звонки» как он выразился.хлопоты, связанные с Голосом Америки, ни к чему не привели (история почти анекдотическая, как-нибудь в другой раз), а вот на Свободе, хоть и не шёл разговор о работе, решили и впрямь что-то с голосом делать.

Позвонили вскорости после встречи моей с Бродским и, получив подтверждение того, что я была знакома с Высоцким и была на его похоронах, попросту предложили сделать о нём передачу о. Я ответила: попробую.

Получился довольно обстоятельный рассказ и о песнях Высоцкого, и о том дне, когда с ним прощалась страна. И вот, когда программа была одобрена к эфиру, мне сообщили, что я могу получить уже деньги за неё. Совершенно ошеломлённая, я спросила: «Какие деньги?»

- Гонорар, разумеется, - ответили мне тоже слегка недоумённо.

Это были первые наши деньги, и это был знак!

Было ясно, что сами силы небесные включились в игру и помогают нам выполнить обещание, данное Настеньке. Денег у нас не было никаких, совсем никаких, только прожиточный минимум, который обеспечивал нам IRC (Международный Комитет Спасения, взявший над нами опеку).

О том, что существуют приюты, места, где можно получить собачку или щенка бесплатно, мы не подозревали, и прямой наводкой отправились в зоомагазин. Выбор был сделан скорее щенком, чем нами. Мы подошли к клеткам, и хозяин магазина, истолковав какое-то наше восклицание перед одной из них как восторг, клетку открыл, и к нам затопал и стал тыкаться в ноги трёхмесячный чистокровный овчарик, который и был куплен и почти сразу же и без особых промедлений назван Джерри.

Дружба Насти с Джерри началась, надо сказать, не сразу: даже в щенячьем возрасте собачунчик был довольно-таки крупный, и контакт с ним налаживался постепенно: Настенька его слегка побаивалась. А рос Джерри не по дням, а по часам, и вскоре, пройдя стадию всяческих домашних шкод (изгрызались башмаки, пластинки и многое другое), превратился в благородного красавца, затопившего наши сердца любовью и нежностью, занявший подобающее место в сердце девочки и обеспечивавший относительную её безопасность: мы были спокойны оставлять дома Настю под его охраной.

А потом пришла пора ещё одной эмиграции, как мрачно шутила я: мы переезжали в Вашингтон. Алёша уехал первым и начал поиски квартиры, что оказалось совсем не простым делом: с собаками пускали не всюду. В правлении дома, где квартира была найдена, условий, вроде, не ставили.

Переезд поздней осенью состоялся, барахлишко перевезено, жизнь потихоньку входит в норму: мы работаем, Настенька пошла в школу, я – ностальгирую по Нью-Йорку, а Джерри тоскует в наше отсутствие, тоскует по-страшному. И вот, когда открываешь дверь, он бросается навстречу и вслед за объятьями, поцелуями и прочими проявлениями

взаимной любви, Джерри шваркается на пол и начинает издавать нечто, хоть и нечленораздельное, но очень сильно смахивающее на МАААА-МАААА.

Это походило на какой-то диковинный ритуальный танец-заклинание: рывок к одному из нас, падение на пол, протяжный трубный речитатив, рывок к другому и всё тот же вопль.

И вот однажды, при разборе почты видим официальное письмо – «вонючку», как я называла в шутку официальные всякие штуки. Но в данном случае, это была вонючка чистокровная и беспримесная: нам сообщали о жалобе на пребывание в квартире собаки, которая нарушает покой жильцов, живущих этажом ниже (дома «барачного типа» были двухэтажные), и, если собака (а они предпочитают не разрешать селиться с собаками крупными!) – если вышеупомянутая собака будет вести себя так же и впредь, нам предлагалось с квартиры съехать.

Скажу честно: прочтя писульку, я чуть и сама не брякнулась на пол. Только-только начали привыкать к месту, осваиваться с работой, справляться со школьными делами – и тут такой подарок!

Пару дней мы вновь и вновь обсуждали ситуацию и вдруг меня осенило! В голову пришла совершенно бредовая с точки зрения здравого смысла идея: мы пишем письмо, отвечая на угрозы выселения ответным ударом. А именно: заявляем, что рассматриваем ультиматум администрации как проявление расизма. Алексей, когда услышал, присел аж от смеха.

- Какого расизма, о чём ты говоришь?

А ему:

- Обыкновенного расизма. Белого. Все вокруг в нашем доме, либо испаноязычные, либо чёрные. А белых видел?

- Кажется, нет, - говорит.

- А русских?

- Нет.

- Расизм, - говорю, - Чистой воды.

И чтобы вы думали? Решили писать, что было в ту пору делом совсем непростым. Несколько дней стряпали эту ксиву, наш «белый протест» и собственноручно принесли его в контору.

Реакция была, доложу я вам! Абсурд и политкорректность в одном букете – великая сила. Да, на нас посмотрели, как на сумасшедших, но стали заверять, что и в мыслях не было нас притеснять, и что они ничего не имеют ни против белых, ни против эмигрантов из СССР, просто обязаны реагировать на жалобы, и что нам следует учитывать тот факт, что покой жильцов – важная вещь и т. д и т. п.

Это была победа, но она, тем не менее, особого покоя в наши души не внесла: было ясно, что жаловаться будут, и, главное, потому что в ту пору, когда Джерри устраивал концерт, соседи внизу либо только просыпались, либо, укладывались спать.

В порядке анекдота рассказала на работе о случившемся одной милой сердобольной сотруднице. В ответ на расспросы, почему у меня в последние несколько дней такой озабоченный вид. Выслушала и говорит: «Жанна, а почему бы вам не купить дом? Они вас в покое не оставят».

- Какой дом, Таня, о чём вы говорите. На дом нужны деньги. А у нас их нет. Совсем нет!

- А у кого они есть? - шутливо возразила мне она, - Деньги есть в банке. Вам нужен только первоначальный вклад. И если найдёте дом недорогой, то и платить будете ненамного больше, чем за квартиру. Зато это будет ваш дом!

Мы задумались. Стали потихоньку разузнавать, что к чему, и осознали, что вариант покупки дома совершенно нереален. Однако Таня – так звали даму – через какое-то время спрашивает:

- Ну, как? Надумали?

- Нет, - отвечаю, - хотя думали, разузнавали. Самое меньшее, что нам понадобится для первоначального взноса – это десять тысяч долларов.

- Не так уж много, - констатирует она. Я в ответ хихикаю:

-Танечка, где же нам взять эти десять тысяч? Вы знаете банк, который можно ограбить?

Боже, сколько же всяких удивительных людей встретили мы в этой стране, и сколько всяческих чудес послала нам судьба!

На другой день отзывает Таня меня в сторонку и говорит:

- Я тут посоветовалась с Зоей (это ещё одна сотрудница.) Мы вдвоём сможем дать вам эти деньги. А у Зои есть ещё и знакомый агент.

Агент, забегаая вперёд скажу, оказался первостатейным выжигой. А предложение, буквально нас с Алёшей потрясшее, мы, не без уговоров со стороны наших благодетельниц, приняли.

Оказалось, кстати, что моё упорное нежелание поступать в штат, по всем показателям с точки зрения здравого смысла тоже, как и письмо о расизме, вполне идиотское (я работала на договоре), оказалось как нельзя кстати. Нам некоторое время удавалось отпрашиваться в гастрольные поездки в Канаду и по Восточному побережью с нашими программами романсов и бардов, и это в результате дало нам возможность потихоньку начать расплачиваться с долгом.

А пока мы, встретившись с полученным впридачу с денежной ссудой агентом, начали поиски дома. И нашли его довольно быстро: 17 марта 1985 года мы обрели новое жильё и, не сдаваясь ни на какие советы людей ушлых, которыми нас забрасывали всякий раз, когда цены на него подскакивали – продать и переехать в какой-нибудь дом получше, попрестижнее, посolidнее и так далее, не сдавались.

Орвелловский год для нас обернулся годом вполне благословенным, хотя было в эти, прошедшие с тех пор – подумать только! – тридцать лет всякое. И мелкие огорчения, и беды, и неурядицы, и хвори, и катастрофы, и смерти друзей, и стихийные бедствия.

Но дом, ставший ДОМОМ, а не просто жильём, всегда утешал и охранял, как верный друг. Сюда было отрадно возвращаться из путешествий, и коротких, и дальних.

И так хотелось бы, чтобы отсюда мы начали наше последнее странствие...

Надеюсь.

Амстердам. Эйнштейн

«Всё в мире относительно», - сказал и даже доказал когда-то Альберт Эйнштейн.

Три года назад набрела в Амстердаме на его настенный портрет-граффити неподалёку от одного из значных мест. Сфотографировала и граффити, и огни этого самого значного места. Думаю, его посетители, как, впрочем, и всех других подобных

местечек, легко и усваивают, и осваивают эту формулу всего из четырёх слов. В которой так безоговорочно звучит это вселенское ВСЁ. Как подумаешь... Но – нет, сейчас не стану. Сейчас – просто небольшой амстердамский мемуарчик.

В тот день мы ужинали в довольно дорогом ресторане. Это был тот случай, когда моя способность «вычислять» нужные места, подкачала: еда хоть и была восхитительной, но по мне, атмосфера – вещь далеко не последняя. А она оказалось чопорно-претенциозной, и это меня так напрягло, что явно выкинула бы какой-то фортель, если бы нас не обслуживал совершенно чудесный мальчик. Разговорились.

По ходу задала ему вопрос, который мог бы показаться бестактным, если бы не возникшая взаимная симпатия.

- Вы пробовали когда-нибудь курить травку? - Алёша бросил на меня в этот момент предостерегающий взгляд, я ответила – успокаивающим, а мальчик, как ни в чём не бывало, произнёс:

- Конечно.

- И как?

- Хорошо.

- А где это делают?

- Да повсюду. Но есть места очень сомнительные, туда лучше не заходить, а есть приятные.

- Атмосфера, в смысле.?

- Атмосфера, - подтвердил он.

- Да тут неподалёку есть замечательный Шоп. Можете дать адрес? Сейчас принесу, - сказал он, и через пару минут, возвратился с записанным на листочке адресом.

Шоп оказался рядом, мы мимо него проходили, когда шли к ресторану. Но что этот «шоп» – не простой магазинчик, а «тот самый» мы не знали.

И вот, выйдя из ресторана, мы решили-таки туда заглянуть. Движимые не столько любопытством, хотя и им тоже, сколько сведениями о том, что упомянутая травка очень помогает справляться с бессонницей (частой спутницей) и с сильными болями, которые мучают меня порой после жуткой автомобильной аварии.

Входим мы в этот «магазинчик», который скорее выглядит как уютный бар, оглядываемся: приятный полумрак, за стойкой – назову их условно барменами – двое стройных и, я бы даже сказала, элегантных мужчин, один помоложе, худощавый, другой – с лицом выдавшего виды морского волка и крепко сбитый. Подумала: «Такой и вышибалой может работать, а, может, он есть вышибала».

Полумрак. Журчит под сурдинку какая-то музычка. На нескольких столиках подрагивает огонёк свечек, посетители за столиками, разного возраста лица мужского пола, неторопливо затягиваются «сигаретками».

Подходим к стойке, и я без промедления приступаю к делу. Так мол и так, мы из Вашингтона, ваш адрес дал официант – называю ресторан и имя мальчика. Кивают: «Знаем, мол, такого».

- Хотим, - продолжаю, - попробовать эту вашу травку.

- Попробовать? - переспрашивает тот, что помоложе. Подтверждаю. И краем глаза замечаю, что сидящие за столиком курцы откровенно разворачиваются в мою сторону и с интересом прислушиваются к разговору.

В беседу включается тот, что постарше, и, поглядывая на меня благожелательно-снисходительно, ласково уточняет:

- А вы вообще-то курите?

- Нет, - говорю. - Вот джентльмен этот – указываю на Алёшу – дымит вовсю. А что, разве это важно? Ведь её употребляют и в медицинских целях даже. Не обязательно же для курящих.

И он, расплывшись в улыбке, поясняет:

- Дело в том, что наша травка – это не ваша травка.

- Крепче, что ли? - допытываюсь я.

- Сильно, - подтверждает. И потом:

- Вы из ресторана, так? Пили что-то?

- Пили, - подтверждаю. Граппу. Вино. Немного. Мы – не из особо пьющих.

Теперь уже все присутствующие, оторвавшись от «дела», следят за развитием разговора.

- Намного крепче, - уточняет не без гордости худощавый. - И реакция может быть непредсказуемой. В любом случае, - говорит, - начинать имеет смысл не с куренья.

Купите для начала печенье.

- Печенье? - переспрашиваю чуть ли не поперхнувшись.

- Ну, да. И терпеливо, увидев мою реакцию, поясняет, что это – не кондитерское изделие.

- Нет, говорю, выслушав объяснение. - Я хотела здесь и сейчас, а «начинать» мы не собираемся, просто испытать хотели: когда ещё мы выберемся в ваш волшебный город. И тут оба начинают отрицательно мотать головой, почти как в сказке: «Не пей, Иванушка из козлиного копытца, козлёночком станешь!» Не надо, мол, испытывать!

Оборачиваюсь на сидящих, и все они кивают мне: мол, он дело говорит.

- Как жаль, - вздыхаю, - у вас тут хорошо. Ну, ладно, тогда говорите, куда завтра сходить поужинать, в какое-нибудь симпатичное место, сегодняшнее – уж очень претенциозное.

Согласно кивают головой и, посоветовавшись, пишут на салфетке адрес. Расстаёмся как добрые приятели: они желают приятно провести оставшиеся дни, мы благодарим за заботу. Выходим, на улице уже глубокая ночь. «Не дозрели мы с тобой до марихуаны», - выносит вердикт Алёша, и мы начинаем хихикать, как если бы и впрямь надышались, и устремляемся к нашему отелю.

А надо сказать, что отель наш – Banks Mansion – Особняк на берегу (он и впрямь стоит на берегу канала) очаровал и даже слегка ошеломил чуть ли не с той минуты, как мы переступили его порог.

Приехали рано, изрядно измотанные перелётом, вошли и – окунулись в прохладу изысканного, элегантного фойе, где сразу же усмотрели что-то вроде бара. На мой вопрос, работает ли он и можно ли выпить кофе, консьерж сказал, как если бы это само собой разумелось: «Он всегда открыт. Кофе, чай, напитки – всё к вашим услугам. А если хотите позавтракать, спуститесь вниз. Ваша комната будет готова через пару часов.

Спускаемся и понимаем, что попали в настоящий кулинарный рай. Я чуть не возопила от восторга, увидев, с какой ловкостью пышнотелая и улыбчивая голландка готовит блины. Заметив мою реакцию, она подмигнула:

- Будете?

Я утвердительно кивнула.

- Сколько? Один, два, три?

Я, неуверенно:

- Два.

Ухмыляется:

- Ну, если понравится, приходите за добавкой.

О, какие это были волшебные утра. Едва завидев, как я вхожу в зал, поднимала вверх ладонь и потом начинала, лукаво посмеиваясь, по очереди выбрасывать пальцы: один, два, три? Похоже, ей пришёлся по нутру мой полный наплеvizм на соображения диеты, и доставляло истинную радость видеть и то, как я поглощаю эти тончайшие сгeрес, «налистники», как назвала их моя бабушка Вера, и то, как я них благодарю.

Но я сильно ушла в сторону от ночного сюжета. В отель мы двигались под бодрый рефрен: «Чаю, боже, как хочется чаю!»

Чаем, однако, дело не ограничилось. Увенчался вечер находкой в этом самом бесплатном баре с впечатляющим ассортиментом (Включая шампанское!).

Взгляд мой остановился в тот вечер на яркой пузатенькой бутылочке.

- Что такое – не знаешь? - спрашиваю Алёшу.

- Нет, - говорит. - Хочешь попробовать?

- Хочу.

Напиток оказался волшебным, и теперь он неизменно присутствует в нашем доме. И упаси вас даже мысленно воскликнуть: «О, так это же портвейн!». Порт, друзья, ПОРТ! Тягучий, терпковатый, глубочайшего рубинового цвета, живительным теплом разливающийся по телу. И это говорю я, совсем не любительница сладких напитков.

Впрочем, и сладковатость его необычная. Пару глоточков с печеньицем или яблочком – и полный восторг! А имя: Offley1737. Ruby Porto. Barao de Forester.

Место рождения – Португалия, год рождения 1737.

Индийская улыбка

Увидела на ФБ, что 3 февраля день рождения Нормана Рокуэлла.

Кое-какие его картины есть у меня в заглавнике. И вот вспомнила, глядя на одну из них, свой подростковый опыт.

Меня часто вызывали в старших классах «на ковёр». Вызовы это были со стороны учителей скорее профформой, чем и впрямь желанием «проработать». Я была отличницей. Круглой. И учителя, за исключением химички, меня любили. Она, впрочем, была женщиной желчной и трудно вообразить, что она вообще способна была любить кого бы то ни было.

Но любовь-любовью, а я совершала порой довольно хулиганские поступки. И на уроках, и вне. И на них надо было реагировать. Как ни странно, я, когда шла в учительскую, чёрт знает почему нервничала. Многих учителей я тоже очень любила и боялась, что нагрублю, не сдержусь.

А была у меня подружка Оля, совершенная троечница, при чём тянувшая на тройки с трудом. Очень странная, очень некрасивая, но совершенно замечательная девка. И тоже очень хулиганистая. Мы с ней были «корешами». И вот она, вместе с другой, Наташей, наоборот пятёрочницей и очень комильфо, но с колоссальным чувством юмора, учили меня: «Жанка, что такое индийская улыбка, знаешь»?

- Знаю.

- А непроницаемый взгляд?

- Знаю.

- Давай, сделай!

Это была репетиция. Я делала. С первого раза получалось не всегда. Но когда удавалось, от формальной улыбки, возникающей уже вполне «содержательно», начинало что-то внутри постепенно улыбаться, и море в эту минуту мне было по колено, и ничто сквозь броню непроницаемой улыбки достать меня не могло.

Опыт пригодился, и ещё как, и в бытность мою работы на театре, когда приходилось пару раз иметь дело с властью предрержащими, и уже здесь, на Голосе Америки, когда случались пару раз конфликты с начальством.

Школьные годы, милые школьные годы, подарившие первый опыт сопротивления. Спасибо, Светлана Рутковская, что напомнили...

А другая картинка Рокуэлла, о сбежавшем из дома мальчике, выбрана мной тоже не случайно. Но это история из другого времени.

О боли

«Жанночка, ну научитесь, наконец, жаловаться», - увещевал мне энное время назад врач, которого в старые времена называли «домашним» или семейным. Подарил его нам в самом начале нашей американской жизни Юрий Елагин, тот самый, что написал в своё время запретные воспоминания о Мейерхольде «Тёмный гений».

«Жанна Аркадьевна, вы даже не представляете, как важно иметь в Америке хорошего врача». И вручил телефон...

О спорах

Всё больше изумляюсь тому, вокруг какой дребедени разгораются споры, дискуссии, драчки, кухонные свары и чуть ли не уличные потасовки...

Осуждения особого не вызывает. Да нет, вообще никакого. Всё меньше склонна «Сегодня, став взрослее и трезвей», как сказано у прекрасной. Беллы. Скорее – подозрение, что у людей накопился феноменальный дефицит общения и страх одиночества (возможно, в обратной последовательности), и стоит только подбросить тему и лучше всего – не слишком глубокую или глобальную, типа: Марья Ивановна считает, что познать смысл бытия лучше всего с помощью вегетарианства, в то время как её соседка, Пелагея Соломоновна полагает, что главное всё-таки хотя бы раз в день совершить прогулку – и начнётся мясорубка.

Вот намеренно с изумлением читала, как люди колошматят друг друга в связи с никудышним стихотворным опусом товарища Евтушенко. Собственно, лучше всего было бы о нём и вовсе не заговаривать, ибо – макулатура. Ан нет: понеслось...

А между тем, имеет смысл прислушаться к призыву Кузьмы Пруткова: «Если у тебя фонтан – заткни его». А надо пообщаться, но сказать нечего – открой книжечку и – углубись.

Что не исключает ни идей вегетарианства, ни прогулок, в том числе – при луне...

Я, по причине врождённой лени – за книжечку. Но и против луны ничего не имею.

Актёрское чтение стихов.

Изумляюсь, а порой даже негодую, видя, как актёрская братия исполняет программы стихов со шпаргалками и, «делу дать хотя законный вид и толк», ну, и некую благообразность, водружают эти свои тексты на пюпитры или укладывают нежненько на столики и степенно так и вполне откровенно листают: так мол и надо. Или гордо держат на вытянутой руке перед собой.

Ну, а впрямь – чего стесняться? С годами с памятью всякое может случиться, а видеть-то нас, кумиров ваших, всё равно ведь приятно, а?

А деньги заплатили – так и терпите. И терпите, и привыкаете, и думаете, что так ведь и надо. А, может, и соболезнаете: память – она, брат, вещь суровая, с кем не случается...

Ремарк

(Э. М. Ремарк. 22 июня 1898 – 25 сентября 1970)

Я плачу, когда читаю эту книгу, во многих местах, каждый раз по-разному.

Сегодня я взяла её в руки уже здесь, а не в Москве, где прочла впервые, уже в третий раз. Не уверена, правда. Лучше бы сказать – в который раз, за, Господи, за тридцать лет.

Мы купили её практически сразу после того, как в 86 году она вышла здесь в русском переводе. Там, в Москве она была в доме кажется всегда. Почему, по какой причине, мы не привезли её с собой ни я, ни Алёша не помним. Многие книги нам увозить не разрешали. Часто это определялось годом издания. Но это, собственно, не так уж и существенно.

Я часто перечитываю книги, которые произвели на меня когда-то впечатление. Лишь немногие – по много раз. И даже если тысячеголосый хор попытался бы убедить меня в том, что книгу эту никак нельзя считать великой, или, что её автор – второстепенный писатель, и восторгаться его романами – чуть ли не дурной вкус, а я просто излишне сентиментальна и попросту недалёкая особа, да и вообще в каких угодно грехах, я бы посмотрела на каждого с глубокой печалью и сочувствием. Бог с вами, так называемые «ценители» высокого искусства, страшащиеся быть обвинёнными в дурном вкусе.

Я даже не стану рассказывать вам, что и многое видела, и много, очень много читала и продолжаю читать, и знаю цену слову. Но далеко не на всё распаивается сердце настезь и перехватывает дыхание от радости сопереживания.

А сегодня книга открылась вот в этом месте и вновь захлестнула, и я вновь – в слезах. И слёзы эти были благодарные и горькие, и нежные. Кто знает горечь утраты, и кто всё ещё верит, у того, мне кажется это не может не найти отклика в душе.

«Остро пахла вскопанная земля. В одном из комьев копошилась белая личинка. Я подумал: «Могилу завалят, а личинка будет жить там внизу; она превратится в куколку, и в будущем году, пробившись сквозь слой земли, выйдет на поверхность. А Готфрид мертв. Он погас». Мы стояли у могилы, зная, что его тело, глаза и волосы еще существуют, правда уже изменившись, но всё-таки еще существуют, и что, несмотря на

это, он ушел и не вернется больше. Это было непостижимо. Наша кожа была тепла, мозг работал, сердце гнало кровь по жилам, мы были такие же, как прежде, как вчера, у нас было по две руки, мы не ослепли и не онемели, всё было как всегда... Но мы должны были уйти отсюда, а Готфрид оставался здесь и никогда уже не мог пойти за нами. Это было непостижимо. Комья земли забарабанили по крышке гроба. Могильщик дал нам лопаты, и вот мы закапывали его, Валентин, Кестер, Альфонс, я – как закапывали когда-то не одного товарища. Вдруг мне почудилось, будто рядом грянула старая солдатская песня, старая, печальная солдатская песня, которую Готфрид часто пел: «Аргонский лес, Аргонский лес, Ты как большой могильный крест...». Альфонс принес черный деревянный крест, простой крест, какие стоят сотнями тысяч во Франции вдоль бесконечных рядов могил. Мы укрепили его у изголовья могилы Готфрида. «Пошли», - хрипло проговорил наконец Валентин. «Да», - сказал Кестер. Но он остался на месте. Никто не шелохнулся. Валентин окинул всех нас взглядом. «Зачем»? - медленно сказал он, - Зачем же?... Проклятье!»! Ему не ответили.

Валентин устало махнул рукой:

- Пойдемте.

Мы пошли к выходу по дорожке, усыпанной гравием. У ворот нас ждали Фред, Джорджи и остальные

- Как он чудесно смеялся, - сказал Стефан Григоляйт, и слёзы текли по его беспомощному печальному лицу...».

Ржевские

Наша встреча с ним наполнила все три года нашей жизни в Нью-Йорке таким теплом, дружелюбием, нежностью, заботой, вниманием и пониманием... Их дом стал нашим вторым домом, их друзья - нашими друзьями. Это был цвет первой и второй эмиграции, среди них – художник Сергей Голлербах, поэты Иван Елагин и Валентина Синкевич, писатель Муравьев. Благодаря Ржевским мы вошли в этот круг.

В их доме, в одну из предновогодних ночей впервые на американской земле мы пели романсы, ставшие позднее частью нашей концертной программы «Любви старинные напевы». Это был родной дом, родные люди, и это одно из самых больших везений первых лет нашей эмигрантской жизни...

Все эти люди стали нашими верными зрителями, все они были на премьере «Моего святого ремесла».

Зингер

«Опять эта примерка!» - с тяжким вздохом и даже с гримаской отвращения восклицали порой некоторые актрисы.

В споры не вступала, хоть вздохов этих и не понимала. Я, впрочем, как-то не очень-то и общалась с актрисами: в большинстве своём они мало меня интересовали за отсутствием хоть каких-то интересов, кроме как поговорить за закулисную жизнь и поведать очередную скандальную подробность из жизни соратниц.

Справедливости ради скажу, что стоять на примерках приходилось иногда подолгу. Портнихи бывали разные, у каждой свой подход: одни доводили костюм почти до кондиции и потом с невероятной дотошностью шлифовали детали на манекене, то есть на мне. Другие прямо на мне же костюм быстренько «набрасывали», и потом нужно было сидеть и ждать, когда эту первую болванку соберут и сообразят, опять же накинув на меня, в какую сторону двигаться дальше.

Сказать, что я любила примерки, было бы не точно. Они меня гипнотизировали. Параллельно примерке возникали, как беглый эскиз, очертания той сцены, в которой этот костюм будет «играть», воображение начинало работать, лёгкий холодок предчувствия будоражил, а время текло себе и текло...

- Вы такая терпеливая, Жанночка, одно удовольствие на вас шить, - приговаривали порой портнихи. Но это была не терпеливость. Это было со-участие. Я любила наблюдать за тем, как вокруг меня хлопочут, что-то там подкалывают, приглядываются, отходят, опять подкалывают, опять отходят, бросают оценочный взгляд в зеркало, куда и я смотрю, стоя неподвижно, и, встретившись глазами: «Как, не устали?» – «Работайте, работайте! Раз надо, во имя красоты...»

Слишком говорливых портних я не любила и научилась «закрывать» свой слух, а они, не находя поддержки, переставали делать попытки. Думаю, если уж говорить о «терпеливости», то немалую роль играл тот факт, что шить я не умела и даже помыслить не могла о том, чтобы взять и что-нибудь спроворить. И потому это моё, с их точки зрения, терпение было замешано на замороженности тем, как ловко они действуют, и как на моих глазах из ничего возникает наряд.

...Галочка. Так звали совсем молоденькую портняжку, которая «одевала» меня для Кокто. Она жутко мне нравилась: хорошенькая, проворная, всегда улыбающаяся и какая-то очень по-домашнему уютная. Ей-то я на одной из примерок и выразила своё восхищение.

- Ну, что вы! - удивилась она, - Что же тут особенного, этому каждый может научиться, не то, что на сцене играть!

В ответ я, хоть и умилилась, поведала, что начисто лишена способностей и даже вообразить не могу, что смогла бы что-нибудь, даже самое простое сварганить. Галочку мой ответ озадачил.

- А вы пробовали когда-нибудь?!

- Нет, даже в голову не приходило

- А машинка у вас есть?

- Есть. Что-то древнее. Дореволюционное. Зингер называется.

-Что-то древнее? Зингер? И вы не пробовали на ней шить?!

Галочка почти задохнулась от изумления и посмотрела на меня с такой укоризной, что мне стало даже немножечко стыдно. А Галочка, покачивая то ли осуждающе, то ли недоумевающей головкой своей, закончив что-то там такое ладить, решительно произнесла:

- Жанночка, вы можете купить какой-то ткани? На юбочку, скажем?

- В каком смысле – могу? - переспросила я.

Галочка, слегка покраснев, уточнила:

- Ну, в смысле, денег.

А надо сказать, что моя зарплата в ту пору изумляла людей сторонних, не понимавших, как это возможно: премьерша – и такое нищенское вознаграждение?

- Купить смогу, - ободрила я Галочку. - Тем более, у нас рядом магазин обрезков есть. А для чего?

- А мы юбку будем шить с вами!

Это было сказано категорическим тоном, который в устах Галочки звучал почти как приказ, и я, растерявшись, пролепетала

- А сколько нужно?

- Какую будем шить, короткую или длинную? - деловито осведомилась Галочка. От беспрекословности её тона я, поперхнувшись, неуверенно произнесла

- Длинную.

- В пол?

- В пол.

Сказано-сделано. Дело было зимой. Нужный кусок ткани (чёрной, фактурной, очень приятной на ощупь шерсти) был куплен, и я торжественно притащила его на следующую примерку. Урок начался с маленькой лекции.

- Главное – обмерить и раскроить, - поучала Галочка, - Я для вас сейчас универсальную формулу дам. Быстренько, что-то там подсчитав, она меня усадила, вручила мелок, сантиметр и велела самой разметить и раскроить ткань. Накинув на себя смётанную под руководством Галочки юбку, я, увидев, что она села, как литая, захлебнулась от восторга и – всё! Пропадай моя телега, все четыре колеса! Получив наглядное подтверждение тому, что я могу что-то создать собственными руками, я испытала такой неправдоподобный прилив энтузиазма, что остановить меня было уже невозможно.

Вслед за юбкой последовали брюки и кофты – фантази, а когда в мои руки попали журналы «Кобета и житя» и «Бурда», репертуар значительно расширился, и я, вконец распоясавшись, дерзнула что-то сварганить (и небезуспешно!) и Алёше.

Окончательно овладел мной портновский демон, когда подросла Настенька. Шить на крошку, доложу я вам, совсем не простое дело, но я получала невысказанное удовольствие, сочиняя всякие штучки-дрючки и наряжая девочку. А по мере её роста платьишки, юбочки и пальтишки переходили, как эстафета, дочкам приятельниц.

А вот моя первая юбка, та самая, в пол, сшитая под руководством Галочки – смейтесь на здоровье! – не только пересекла в багаже, вместе с машинкой Зингер, океан, но до сих пор хранится как священная реликвия.

Портняжная страсть, правда, потихоньку угасла: возвратилась я к шитью только пару раз, для дела, когда нужно было сшить часть костюма для Моцарта, наряд для концерта «Любви старинные напевы» и платье для цветаевского спектакля.

А Зингер стал жертвой забравшихся к нам в Нью Йорке, почти накануне нашего переезда в Вашингтон, воришек. Брать у нас ничего ценного не было, кроме электропианино. За ним, думаю, они и охотились по наводке нашего домоуправа. Машинку они тоже прихватили, но, не застегнув крышку, уронили и испугавшись, должно быть, грохота бросили у входа. На неё-то, поверженную и растерзанную, мы с ужасом наткнулись, вернувшись после выступления в Вермонте.

На починку старушки денег не было, и она совершила опять путешествие, опять в багаже, но уже по суше. Когда зашёл разговор о том, что пора уже её выбросить на свалку истории, так как обзавелись новой, я стала грудью на её защиту.

Недавно, солнечным весенним апрельским днём, разбирая содержимое сарайчика, мы вынесли её в сад проветриться, и я, с умилением и благодарностью глядя на её изрядно

потрёпанное тело, вспоминала незабвенные вечера, проведённые под её стрёкот, и Галочку, убедившую меня в том, что не боги горшки обжигают...

Тася

Думаю, было мне тогда лет двенадцать-тринадцать, не больше. И была я не то, чтобы не по годам взрослой, но скорее не по годам читающей то, что обычно в круг детского чтения не входит.

Ну, Бальзак, к примеру, том за томом. Его герои стали для меня вполне реальными персонажами, и я скрупулёзно разбиралась в их любовных перипетиях, интригах и в разнообразных подробностях жизни высшего света. Или Флобер. А рядом – неизменные «Два капитана» Каверина и Лермонтов, и Толстой, и Эдгар По – довольно странная мешанина.

Часто болела, и моя драгоценная бабушка Вера (так и называла её всю жизнь, по имени только), входя в комнату с каким-нибудь ненавистным питьём, могла спросить: «Что тебе, Жаннуленька? Капитанов или Воскресенье?»

Отличалась довольно независимым характером, склонностью к не девчачьим играм типа футбола и с тайными страданиями по поводу своей рыжей масти (дразнили по-разному и порой совершенно идиотски), что не мешало мне испытывать чувство превосходства по отношению к сверстницам и несколько презрительно относиться к бытовым подробностям жизни.

Любила ли я театр? То есть вошёл ли он в ту пору в мою жизнь? Не случилось. Зато сильнейшее впечатление произвела в раннем одесском детстве опера, и я, оставшись одна, истово дирижировала любимыми увертюрами и с особенным наслаждением выпевала арии. Любимой почему-то была «Усну один в порфире короля» из Дон Карлоса и, по понятным причинам, первая из услышанных опер – «Смейся, паяц!»

Всё, что имело отношение к эстраде, романсам былых лет, Козин, Вертинский и пр. (дома была куча пластинок) особого интереса не вызывало.

И тут в город на гастроли из Николаева приехал театр, в котором работала Алла, мамина подруга до институтских лет. В первый же вечер, после спектакля – наш дом был прямо напротив театра – она, вместе со своей закадычной подругой, тоже актрисой, пришла в гости.

На спектакле, не помню почему, я не была, а на предложение мамы выйти к гостям категорически отказалась: была-таки ужасной букой. Хотя, замечу в скобках, всегда отзывалась на мамины просьбы, когда она просила меня, взглядом давая понять, что ей это «нужно». Считалось, что у меня безошибочный «собачий» нюх на людей, и, хоть и изумляла порой своей реакцией, как правило, она подтверждалась. Так и слышу мамин голос: «Деточка, всегда-всегда слушай свой голос. Доверяй ему. Это так поможет тебе в жизни».

Слушать-то слушала, но во взрослые годы вмешивалась «совестливость», нащёптывавшая порой, что нельзя судить о людях по первому впечатлению. И, если поддавалась, всегда была наказана.

К гостям не вышла, сидела в другой комнате, читала. И вдруг услышала сначала гитару, а потом голос. И что-то внутри у меня странно ёкнуло, и я, как сомнамбула, поплелась в гостиную и увидела поющую Тасю.

Алла была яркой жгуче-чёрной брюнеткой, с румянцем во всю щёку и неправдоподобно-синими глазами. Абсолютная красавица! Тася – тёмно-русой, сероглазой, и, как сразу для себя определила – настоящей герцогиней, изысканной и недоступной. А пела она в тот, да и в другие вечера, Вертинского. И столько было в её низком, чуть с хрипотцой голосе страсти и тайны, что я просто захлебнулась от восторга: Тася пела любовь!

На следующий день я увидела её в «Учителе танце», а потом в «На дне»: Алла была Василисой, Тася – Настей, в «Тиране Падуанском» – словом, все вечера я пропадала в театре, но, что самое интересное, всё, что происходило на сцене, я воспринимала сквозь призму первого ошеломления, надо всем была тайна, недосказанность, сокровенный смысл.

Тася подарила мне театр как возможность высказать на сцене неисповедимое, и «подарок» очень скоро начал воплощаться в жизнь.

Правда, вступление в школьный драмкружок было с моей стороны известной уступкой: нужен был голос для исполнения мужских ролей: Самозванец Дмитрий в сцене у фонтана был одной из первых. Много дала бы за то, чтобы увидеть сейчас, что это было такое!

Театр, однако, стал во мне мало-помалу «прорастать», а вскоре созрела непоколебимая решимость поступить в театральный институт, вопреки столь же непоколебимому сопротивлению любимой и прекрасной мамы, лично погрузившей меня, золотую медалистку, в поезд поступать в Политехнический институт.

Сбежала оттуда поступать в театральный после второго курса, а потом и из дома, куда меня почти силой вернули и из которого сбежала, уже насовсем. Но это – другая история.

А началась она со встречи с Тасей. Песни Вертинского в Театральном я, кстати сказать, довольно часто пела по просьбе друзей, всегда чуть иронично и отстранённо. А вот внезапно нахлынувшие недавно воспоминания вернули к его песням уже так, как я восприняла их в Тасином исполнении, и слова которых запомнила на всю жизнь. Да и слушать пластинки Вертинского, которые у нас были дома и которые даже «доехали» с нами до Америки, стала совсем иначе.

К чему это я? Да к тому, что вошедшая когда-то в моё сердце Тася подала голос из прошлого и, похоже, благословила на то, чтобы спеть и записать то, что услышала от неё и что навсегда запало в душу. А к внутреннему голосу, как призывала меня мама, надо прислушиваться, это я теперь знаю точно...

Спасибо, дом

То, что у нашего дома есть душа особенно остро чувствуешь, когда возвращаешься после долгого отсутствия, и, уже подъезжая к нему, ощущаешь тревожный толчок где-то под сердцем, а потом переступаешь порог и он, как старый друг, раскрывает навстречу тебе объятия, и ты с радостью узнаёшь слегка подзабытые, но такие родные черты.

И как верный друг, дом наш способен утешать и радовать. А уж когда подъезжаешь к нему после чёрт знает какого тяжёлого дня и видишь его в праздничном окружении азалий, которые вдруг, в один день, взорвались красками, как не подумать: счастье, это счастье! Спасибо, дом, спасибо, что ты есть.

Елене Резниковой (ФБ)

Елена! Сейчас прочла ваш рассказ о поступлении в студию МХАТ.

Как-то загордилась даже. Почему? Ну, нужно было этому человеку, Радомысленскому, испытать *такие* чувства по отношению к рыжеволосой девочке, чтобы написать о четырёхкратном поступлении.

После второго тура, перед третьим, имела с ним беседу, как-то и чему-то поучал, а я определённно и, как всегда, видя перед собой человека не очень далёкого и очень самовлюблённого, дерзила. (Это я потом в таких случаях научилась притворяться дурочкой, чтобы не наступать на мозоль больных самолюбий и пр.)

Не помню, о чём шла речь, вернее всего о каком-то монологе, который предстояло читать. И вот, после третьего тура, он же – мне: «А чему мы будем учить вас здесь? Вы уже всё сами можете и знаете...» («знаете» – с довольно-таки противной презрительной улыбочкой)

А я, к счастью, на следующее лето, получив экстренную телеграмму от знакомой актрисы, громогласно возвещавшей, что меня «ждут великие дела» (она так говорила обо всём) и велевшей немедленно ехать в Питер, где набирает курс товстоноговская кафедра... «Зачем тебе все эти Академики? Тебе нужны живые люди».

А дальше – что ж? Разыграли между собой Сонникова и Лебедев. Победил Лебедев. Он и стал, вместе с Призван-Соколовой моими педагогами...

И свобода, и живые взаимоотношения состоялись. К великому счастью и год до поступления принёс множество подарков судьбы.

К концу

Звонок был поздний. Сразу поняла, увидев, кто звонит, что что-то произошло: приятельница моя – женщина «режимная», спать ложится рано, а время приближалось к полуночи. Ёкнуло сердце: знала, что она собиралась сегодня к своему «домашнему» врачу, который пользует её чуть ли не несколько десятилетий. Шла она к нему, уже пройдя в очередной раз не очень приятные тесты.

- Ты чего, спрашиваю? Какие-то дурные новости?

- Да нет, - отвечает с заминкой. Но по голосу слышу: что-то здорово тревожит. И вдруг, без предисловий, скороговоркой:

- Я ему говорю: «Ну, почему, ну, почему не могут у нас в Вашингтоне узаконить эвтаназию? Когда очевидно, что никаких надежд на спасение нет, что впереди – не только страшные боли, но и унижение беспомощности (о, как я это понимаю, это унижение! - думаю про себя). И вообще, - уже откровенно заводясь, как если бы я ей возражала. - Не по своей воле пришла я в этот мир, дайте мне хотя бы возможность уйти из него по своей. И вот в Калифорнии же приняли этот закон. И марихуана там узаконена – это же здорово и гуманно, так ведь?»

Молча соглашаюсь, а вслух:

- А он- что?

- Говорит со своей этой усмешечкой, ну, ты знаешь: «Стоит ли так волноваться по этому поводу? В конечном счёте, всегда можно поехать в Калифорнию, когда понадобится».

На секунду поперхнувшись услышанным (неужели так и сказал?) вслух:

- А ты ему?

- А я: когда мне станет плохо, я, может, ни поехать, ни полететь не смогу. А потом – там же ещё надо завести врача. Они же на дорогах не валяются. Это я там могу шваркнуться в обморок и валяться на дороге. И потом, - говорю ему, - похороны. Туда и попрощаться со мной некому прийти будет. Кто полетит в такую даль»? А он вдруг, на полном серьёзе: «Я полечу!»! Представляешь? Я растерялась даже. А потом спрашиваю: «Честно»? – «Честно! Как вы можете сомневаться»? И, знаешь, так мне хорошо стало, когда поняла, что он меня любит. То есть, у нас с ним приятельские отношения давно, но вот тут поняла, что по-настоящему стали друзьями...

И вот говорит она, говорит, а я молчу, понимая, до какой степени вопрос этот о кончине под созвездием Рака её мучит, как она возвращается к нему каждый раз, когда наступает время очередных анализов, тестов и прочей дребедени. Особенно сейчас, когда результаты тестов скверные, а прогнозы ничего радостного не сулят. И как она от всего этого устала, и как растеряна. А она вдруг произносит – видно, только сейчас до конца осознав смысл сказанного:

- Слушай, он в первый раз не сказал мне: «Да, ладно тебе, что ты заранее хоронишь себя, у тебя ещё много лет впереди». И я поняла, что надо наконец собраться с мыслями и сделать все нужные распоряжения и вообще...

Замолчала. А потом, со свойственной ей способностью всё свести к шутке.

- И вот что точно надо решить, так это, в чём хорониться.

- Хорониться? - переспросила я, не сразу врубившись.

- Ну, на тот свет убираться в чём. Это же существенно, как полагаешь? И главное – чтоб рожа не пугала. А то ведь так и запомнят страшнее смерти ...

Долго разговор этот не шёл из головы. Эх, эскулапы, эскулапы, специальные курсы вам надо проходить, что ли? Как осторожно вам нужно вести себя, чтобы случайно не сказать того, что может занозой застрять в подсознании и свербить по ночам. Мне приходилось, не раз, и не два слышать от врачей, какой это непростой вопрос: что следует говорить пациенту, в какой форме? Надо ли без лишних эмоций спокойно и трезво изложить ситуацию и перспективы развития болезни, или в каждом отдельном случае нужен сугубо индивидуальный подход. Разумеется, никуда не деться от фактов, тем более, когда решается порой очень и очень непростая задача – как лечить? Это я понимаю. Но всё остальное...

Однажды мой давнишний приятель, совершенно замечательный врач, британец и красавец к тому же, с замечательным чувством юмора, сказал мне, что его поражало единодушие детей китайцев, корейцев, кажется, ещё кого-то их тех краёв, умолявших не говорить родителям правду. Во всяком случае – беспощадную правду. В ответ на мой вопрос «почему», по его мнению, он пожал плечами – менталитет. Другой менталитет.

- А американцы?

- Американцы хотят знать. Прагматизм. От реакции сразу переходят к делу.

Каковы прогнозы. Как лечить и т.д. Что не исключает рыданий и истерик.

- Счастливые, - заметила я.

- Счастливые? - переспросил.

- Ну, да, Мэтью. Отрыдают и – к делу. Тем, кто не рыдает, тяжелее.

Я, наверное, не стала бы писать на эту, мягко говоря, неприятную тему, если бы не просьба одного из ФБ-друзей, Павла Куклина, сделать перепост, в котором речь шла именно об этой болезни. О раке. Так называется эта проклятая болезнь, уважаемые ФБ-друзья, стыдливо избегающие этого слова и именующие её «онкологией». Онкология – это раздел медицины, в крайнем случае, для краткости, так можно назвать онкологическое отделение в больнице. Впрочем, если так легче – не мне судить и тем более осуждать. Так или иначе, пообещала Павлу, что скажу пару слов об этом. Наверное, долго бы ещё не собралась, но два дня назад, утром, раздался звонок из Москвы.

Звонила дочка моей подруги, Наташи Песковой, с которой вместе учились в театральном. Она на театроведческом, я на актёрском. Не знала никого веселее и жизнерадостней, чем Наташа. Такого верного друга и, при кажущейся легкомысленности, удивительно ответственного и обязательного человека. А звонила дочь сказать, что прошлой ночью она умерла.

Боже, как Наташа сражалась за жизнь, через какие муки проходила вновь и вновь. И как щебетала, рассказывая, какой у неё замечательный паричок! И как походя сообщала, что – ты, пожалуйста, Жак, не думай, что лежу: повсюду бегаю, на выставки хожу, в Доме кино бываю. Правда, иногда неожиданно падаю: метастазы, как никак. Но ничего: вот ещё один курс и – обещают врачи – болезнь удастся остановить!

Поддакивала, ободряла, шутила, хоть понимала, что ситуация безнадежная, метастазы чуть ли не всюду. Ненавидела врачей, которые её терзали, и тут же одёргивала себя: раз она верит, значит, надо эту веру поддерживать!

А чуть больше месяца назад, когда в очередной раз позвонила узнать, как и что, телефон не отвечал. Дозвонилась до Катеньки, её дочки.

- Жанна, Митя (брат, живёт в Югославии) увёз маму к себе, уговорил её позволить делать уколы от боли.

(Больше месяца, Господи, больше месяца длилась агония)

- Врачи не понимают, как она могла столько продержаться, - сказала Катенька.

Не верила, до конца не верила, что умрёт - подумала я. А вслух:

- Катенька, Наташу там и похоронят? Ты не сможешь попрощаться с ней?

И Катенька, девочка очень верующая, ответила: «Жанна, дорогая, я надеюсь, мы все увидимся позже.

Переспросила

- Увидимся?

- Ну, там наверху. Ведь попадём туда, в Царствие небесное. Ведь правда, Жанна? Попадём? И там встретимся, как в Венеции, помните?

Как же не помнить, Катя! Наташа приехала в Венецию, где я приходила в себя после тяжёлой автомобильной катастрофы, на два месяца уложившей меня в койку. Привезла с собой Катю – познакомить со мной. Когда я уезжала из Союза, она была крошкой. Подружилась и с Катей, с её дочкой Анечкой. Волшебный, незабываемый день провели, такое не забывается.

- Увидимся ли? Ах, Катя, я не знаю.

Сейчас способна только думать о том, что не услышу Наташиного заливистого смеха, нежнейшего, журчащего, как ручеек, голоса. Я даже не знаю, как бы отнеслась она к возможности прекратить муки, уйдя из жизни в сознании, до того, когда оно уже будет

ей неподвластно. Я решила поговорить с ней в одном из разговоров о завещании, о том, что непременно надо написать. Отмахнулась – успею!

Воистину, «мы живём, как будто жить разрешили вечно». И болезнь не называем своим именем, и само слово смерть избегаем по возможности. Словно и не призывали римляне: Memento mori! Помни о смерти! Но мы этих призывов не слышали. Гоним от себя мысли о ней. Даже сделать такую простую вещь – написать завещание – не всегда готовы. А ведь надо. Во имя тех, кто остаётся, чтобы избавить их от лишних забот: им ведь придётся справляться с горем и не у каждого есть надежда на встречу в небесах.

Но если такая встреча и впрямь возможна – надеюсь, не разминёмся, щебетунья Наташа! Мир душе твоей и Царствие Небесное...

Рождество.

(26 декабря 2016 г.)

Я люблю Рождество, люблю этот Праздник. Всю его предпраздничную суматоху и суету, и толчею в магазинах, и нескончаемый поток рождественских песенок и гимнов, льющихся из динамиков, куда не пойдёшь. И даже неотменимость кулинарного бдения несколько не умаляет праздничного настроения. Напрягает порой, да! Но зато потом успех стократно восполняет «кровь, пот и слёзы».

Нынче, правда, кулинарную программу пришлось подсократить, как это говорится? По не зависящим от меня обстоятельствам: год и впрямь выдался лихой, и обрушившиеся на меня вести неумолимо и последовательно сводят мои силёнки на нет. Однако, даже в страшном сне не могла я предположить, какой удар будет нанесён мне в Сочельник, в разгар Праздника. Удастся ли оправиться мне от нанесённой раны? Думаю, она – из незаживающих, будет болеть и саднить, с ней придётся жить.

Сильно за полночь, уже придя немного в себя и поняв, что заснуть мне этой ночью не удастся, а спать – надо, именно что надо! Врезала я по двойной порции снотворного и заснула-таки, и спала без сновидений, но стоило открыть глаза, как толчок под сердцем почувствовала так сильно и так неумолимо, что, казалось, конца боли просто не может быть. Но длилось это всего лишь мгновение. Голос, мне не принадлежащий, спокойно и внятно произнёс: «Живи! Беды приходят и уходят. А Рождество бывает только раз в году. Что впереди – никому не ведомо. А сегодня День рождения Младенца, родившегося, чтобы мир спасти. Безумный мир, уже больше двух тысячелетий захлёбывающийся кровью и ненавистью. Да ещё и Ханука стартовала. Столько людей во всём мире, каждый на свой лад, празднуют День света и День любви. А ты так и не поздравила всех тех людей, которых ты обрела и узнала».

Ну, и вот подошла к компьютеру – поздравить всех вас, пусть и с опозданием, а первое что увидела, не сразу поняв, о чём речь: длиннейшую перебранку по поводу случившейся катастрофы (Российский самолёт, разбившийся по пути в Сирию, с членами танцевального ансамбля на борту. Прим. Ред.). Через пару минут увидела, о чём речь. Посидела, тупо уставившись в экран компьютера, не веря своим ушам и глазам. Даже не пытаюсь понять, как возможно, не дрогнувшей рукой написать: так им и надо, вот этим, таким-сяким. Этим... Тем, кто, в полном сознании летел в чёрную бездну, испытанным ужас смерти, ужас мрака, ужас конца.

Я прошу простить меня за невнятность. Но я чувствую неотменимую потребность, с опозданием пусть, (вчера ночью не хватило сил) поздравить с двумя замечательными датами: Рождением Спасителя, чья жертва, во имя нас суетных, мелких людишек, так по сей день и не искуплена, и Ханукой, Праздником Освещения и Обновления.

Пусть вернётся к нам способность сострадать, пусть уйдёт из сердец жестокость, и мы научимся любить и верить в добро в этом жестоком немилосердном мире и веке.

Чистка. (ФБ) (11 января 2017)

Ну что, уважаемые мои и любимые ФБ-друзья? Готовы ли перейти Рубикон и, наконец, выйти на просторы 2017-го под громкое петушиное ку-ка-реку?

Думаю, самое время. И попрощаться окончательно, оставив позади весь груз неприятностей и огорчений, мелких обид и больших разочарований, дурных вестей и неосуществлённых планов, вдохнуть полной грудью и взглянуть на жизнь с надеждой и готовностью сражаться за человеческое достоинство.

Он ещё не президент. Это раз. А, во-вторых, на CNN всю дорогу выступали представители Трампа, целая бригада. CNN показывал – целиком! – его предвыборные митинги и из кожи лез, чтобы, не дай бог, не быть обвинёнными в несбалансированном освещении событий, и, практически, не отвечал, не опровергал всю лапшу, которую Д.Т. навешивал на уши во время своей предвыборной кампании. А лучше бы отвечал, думаю... Отчего не отвечает? Вот в чём вопрос.

Обнаружив, что 11 января – официальный День Спасибо (что изрядно позабавило), сообразила, что затеянная мною вчера «чистка», то есть, попытка разобраться, кто есть кто в пространном списке друзей на ФБ, с последующим удалением ряда очень сомнительных «товарищей», была затеяна во-время. С какого-то момента я перестала отвечать на запросы о дружбе. Не из высокомерия. Просто участвовать в игре по набору количества не могу себе позволить, а чаще всего просят люди, именно этим занимающиеся. Когда случаются исключения, даю согласие.

Что до удаления из списка, то руководствовалась критерием порядочности прежде всего: не хочу запятнать своё имя снисходительностью по отношению к тем, кто позволяет себе злобствовать, тем, кто не даёт себе труда доискаться до правды и зачастую распространяет в сети ложные сведения, пусть и не злонамеренно, а порой и целенаправленно.

Я недавно спросила у одной славной женщины, почему она держит в списках своих друзей людей, которые позволяют себе заявления расистского толка, нетерпимы к мнениям, отличным от их собственного, конспирологов, охотно сглатывающих сколь угодно невероятную информацию, порочащую людей порядочных, и тиражирующих её на ФБ, ведут себя грубо и неэтично, оскорбляя своих оппонентов (типичное поведение вновь избранного президента в ходе предвыборной кампании, кстати сказать). Ответила что-то вроде: не люблю обижать и. д.

В моём понимании, это – элементарная неразборчивость и попустительство, что равнозначно для меня сотрудничеству со Злом. Так или иначе, потратив довольно много времени на чистку рядов, поняла, что делаю правильное дело.

Страница моя открыта, возможность «способствовать улучшению нравов» и даже повлиять хоть чуть-чуть – такая возможность у меня остаётся. Кто знает, может быть и на тех, кто попал в число удалённых.

И вот теперь, с чистой совестью, перехожу, к благодарственной части сегодняшнего дня. Ещё раз убедилась в том, с какими интересными, умными, яркими, добрыми, светлыми, остроумными, весёлыми и одарёнными людьми довелось мне встретиться и подружиться на просторах ФБ. Радостно подчиняюсь велению календаря и во весь голос произношу вам: спасибо вам! Thank you! Merci! Grazie! Danke! Gracias! То да! Дякую!

Пусть рядом с вами будет добрый и весёлый ангелок, который уберёжет вас от того, чтобы ступить на тропу зла. Love!

Помощь. Врачи, лечение и прочее. (Лето 2017)

Опять-таки, благодаря моему доктору, встретила со специалистом, который, узнав, что категорически отказалась от предложенной мне моей врачихой традиционной химии – причём химии жестокой, со всеми сопутствующими прелестями (я, правда, до сих пор не вполне понимаю, как она собралась её осуществлять – у меня сожжены вены прежним лечением и даже элементарный анализ крови, то есть – воткнуть в меня малюсенькую иголку, могут только гениальные сёстры, наделённые даром «чуять вены» – так вот этот специалист, отнесясь вполне сочувственно и к моей аргументации, что я не хочу вновь «выпадать из жизни, лишаться волос, ресниц, бровей и пр. и страдать ещё от всех «прелестей» которыми сопровождается химия, предложил вариант в виде пилюлей.

Он сработал совершенно чудодейственным образом...

И вот, уже году в семнадцатом, блядская болезнь выбрала себе новый объект в моём несчастном теле и – вы будет смеяться – ровно в день моего рождения мне начали облучать левую часть крестца. После облучения я начала нормально ходить, без ненавистных ходилок и болей...

Но на этом врачи не успокоились и решили начать всякие упредительные уколы, чтобы, не дай бог, болезнь не начала разгуливать по мне, как у себя дома... И тут, скажу я вам, постепенно у меня начались во всём теле такие боли, что ни один нормальный человек вытерпеть не может. Иногда они переходили в болевые атаки, от которых я выла, рыдала и очень хотела порой разбить башку в надежде, что эта боль будет сильнее. И заставит заткнуться существующую.

Сейчас, выйдя из больницы, и слегка придя в себя, я, по размышленьи здравом, пришла к выводу, что все эти «предотвратить, задержать, подлить жизнь» – это в самом прямом смысле стрельба по отсутствующей цели, беспорядочная и бессмысленная. То есть, решила положиться на волю небес.

Так или иначе, возвращаясь к началу: я буду от всей души благодарна вам, ели вы и не отмените своих добрых пожеланий, время от времени подумаете обо мне хорошо и, кто знает, возможно это поможет мне и поддержит меня.

Никаких соболезнований я слышать не хочу и не приму, они меня просто оскорбят. Я – в порядке. И никаких советов, народных рецептов и легендарных способов излечения,

пожалуйста, не предлагайте мне. Я просто не стану – не сердитесь – их читать. Начиталась, славабогу. Вы уже сделали очень много, окружив меня любовью и доброжелательностью.

Человек смертен. И порой «внезапно смертен». Главное – жить.

И я таю надежду, что, когда придёт время мук, найдётся добрая душа, которая поможет, научит уйти без них. А пока – да здравствует жизнь, любовь...

Ещё одно: смертельно боюсь, что к вашей оценке того, что я помещаю у себя на странице прибавится комплекс жалости. Это меня убило бы, просто убило бы.

Так что – да здравствует жизнь и любовь... Последнее: не рассматривайте мои посты в свете существующей ситуации. Все эти два года я писала о том, что меня волнует, что мне дорого, что радует и беспокоит. Иногда – о смерти. Но я об ей думаю почти с юношеских лет: как о финале нашей жизни и о том, как её достойно встретить. Ну, такое философствование в домашнем масштабе. И ещё одно: упаси вас Всевышний жалеть меня. Это бы меня смертельно обидело и даже оскорбило.

P.S. Перечитывать не буду – боюсь передумать.

На фотографии – восемнадцать лет. Уж и не знаю теперь, когда отважусь показать свою нынешнюю рожу. Так что... Сделана в Киеве. Одним из обожаемых мной городов).

Мои спектакли

«Медея». Токагта

В театральном институте, помимо участия в работах на своём актёрском курсе, я была «задействована» чуть ли не на всех режиссёрских.

Однажды, где-то в конце третьего года, ко мне подошёл Валя Ткач: «Можно с вами поговорить?»

Надо сказать, что я чуть ли не со всеми была на «вы», и ребята, хоть и пожимали плечами, считая чудачеством, с этим моим закидоном считались.

- Да, - говорю, - о чём?

- У меня идея.

- Давайте, - отвечаю.

- Я видел вас в «Жаворонке» Ануя.

- Ну, и что?

- Здорово, что говорить, но это как-то само собой напрашивалось, такой банальный ход.

- В смысле?

- В смысле – использовать вашу внешность.

Тут же встала на дыбы. Виктора Аристова, режиссёра отрывка, любила и готова была защищать: был уродлив, нелеп и очень талантлив. Сейчас, думаю, пошлю тебя, херувимчика, подальше. (Валя и впрямь обладал такой, пусть и не херувимской, но вполне изящной и даже чуть-чуть женственной внешностью). Почуяв, видимо, готовящуюся реакцию и упреждая её, он произнёс с какой-то интригующей интонацией:

- А вот его «Медею» вы читали?

- Нет, не читала.

- Вот, почитайте, - суёт мне в руки папочку и удаляется со словами: - Подумайте, пожалуйста.

Но думать мне особенно не пришлось: пьеса потрясла. На следующий день сама подошла к нему и спрашиваю: «А какую сцену вы собираетесь делать?» А он мне в ответ, улыбаясь: «Да никакую. Думаю, людей собрать и сделать спектакль. Такую внекурсовую работу».

У меня сердце чуть не выскочило из грудной клетки: целый спектакль, подумать только! И такая драматургия! Валя, глядя испытующе: «Справитесь с нагрузкой? Вы же как-никак Вассу Железнову репетируете. Тоже ролька не из простых». Ни единой секунды не колеблясь ответила: «О чём речь, Валя? Сдюжим!»

Через пару дней начались ночные репетиции. Вернее – предварительная разминка. То, что, именуется «застольным периодом» (не путать с застольем!) Репетиции в полную силу и уже на площадке начались на следующий год.

Ругались мы с Валею, уже на «ты», по-страшному, только что до драки не доходило. Валею всё тянуло на всякие «красочки», хотелось внести подробности типа девушки коринфские танцуют перед началом действия, костюмчики из той эпохи и т. д. А я ему всё твердила, что ничего-ничего (!) не должно быть на сцене, что спектакль должен быть предельно аскетичным, голая площадка, ну – каменюгу положить какую-то в центре, на которую сесть или стать можно будет (забегая вперёд, скажу что девушек танцующих

он отстоял, целых три прехорошеньких Ирочки плясали в прологе, одна из них была его зазной). И вот репетируем мы репетируем, спектакль начинает выстраиваться, мы все счастливые разъезжаемся ночами по домам, предвкушая триумфальное завершение страстей по Ануию, и тут, в одну из репетиций, Валя задаёт мне вопрос с подковырочкой: «Ну, хорошо, ты считаешь декораций не надо, вообще ничего не надо, а дети, с детьми как же?»

А детей, как известно, Медея в конце спектакля убивает. Вот как сейчас помню: Володя Головин(Язон) – с режиссёрского, Ваня Краско (царь Креон) – из тетра Комиссаржевской, как стояли, так и остались стоять с раскрытыми ртами. Как-то никто из нас особо не задавался вопросом: а как же с детишками? Я, совершенно остолбенев, смотрю на всех по очереди и понимаю: вот где таилась погибель моя, дети и вправду нужны.

- Детей найдём! - прерывая молчание, бодренько приходит на помощь Ваня, - Сколько там мы этих спектаклей сыграем? Один-два, ну, три. Одолжим в коллективе...

И так случилось, что через пару дней (мозг сохнет от ужаса: после всех моих программных воплей – аскетизм, аскетизм и ещё раз аскетизм – от детей никуда не деться) – через пару дней иду я со своими двумя подружками в филармонию. Органный вечер.

Помню, как сейчас: доходит дело до ре-минорной токкаты Баха, раздаются первые аккорды, и у меня потихонечку всё начинает плыть перед глазами, земля уходит из-под ног, и меня озаряет: детей быть не должно. Сцену можно сыграть без них. И вижу всё, в мельчайших подробностях, как в замедленной съёмке. Мне потом девки рассказывали: «Жак, мы испугались. Танька заметила, что ты жутко – не то что побледнела, а буквально побелела и сидишь, как истукан с закрытыми глазами. Присмотрелись, переглянулись: ничего, слушаешь вроде, всё в порядке».

На следующий день на репетиции, ужасно волнуюсь: одно дело вообразить, а другое – изобразить, говорю: Ребята, давайте вот сейчас прямо финальные сцены: сначала монолог, потом с детьми. И – показываю. Молчит Володя, мой партнёр (Язон), молчит Валя, жду я. Через секунду оба сгребают меня в охапку, явно счастливы, но Валя прерывает нашу эйфорию вопросом: «А самоубийство? Нож будет»? - «Ножа не будет», - говорю. И его не было.

Иоганн Себастьян Бах подсказал решение сцены убийства детей, которых на сцене так и не было: я с руками на головках детей, ласково увожу их, спускаясь со стоящего в центре постамента, закрываю спиной от зрителей и совершаю трагический акт убийства.

А вслед за этим, после монолога, обращённого к Язону, наступает моя любимая сцена смерти: Медея, вонзив в себя нож, произносит прощальную фразу: «А теперь попробуй забыть меня», и медленно, бережно опускаясь, укладывается, свернувшись калачиком, на постаменте, чтобы заснуть навеки.

На этом, однако, дары Иоганна Себастьяна не закончились. Ваня Краско, предполагавший, что сыграем мы от силы три спектакля, ошибся. Меня после института приняли в труппу театра Станиславского, и Львов-Анохин, которому о спектакле прожужжала все уши Елизавета Тимофеевна Тиме, наш педагог по сценической речи (я была её любимицей) предложил показать его худсовету театра.

До сих пор испытываю пронзительное чувство благодарности ко всем занятым в спектакле ребятам (минус пляшущие в прологе коринфские девушки, которые были опущены за ненадобностью). Все они, не минуты не колеблясь, рванули вместе со мной в

Москву. Играли в репетиционном зале, чуть ли на носу у худсовета, постановившего включить спектакль в репертуар, введя на все роли, кроме заглавной, актёров театра.

Руководителем постановки стал Львов-Анохин. Валя Ткач, к великому моему сожалению, с ним не ужился, хотя имя его, как режиссёра спектакля, на афише, разумеется, осталось. Летом следующего года, во время гастролей в Ригу, спектакль был сыгран первый раз. Московская премьера состоялась осенью. С неё началась моя жизнь на театре. Тому много, много лет назад...

На фотографии – я с руками на головках детей, которых потом ласково поворачиваю и увожу: закрываю спиной от зрителей и совершаю этот трагический акт...

Весь спектакль, сцену за сценой, снимал некто Лев Сабинин. Узнала уже потом, когда однажды ночью он вручил мне толстенную папку фотографий.

А уже после нашего отъезда друзья сумели переправить их сюда. Увезить нам ничего не давали: афиши, письма, фотографии – всё осталось в возлюбленном Отечестве. Но кое-что к нам вернулось.

Стрижка

Почему-то эта стрижка так врезалась всем память. Вероятно, потому что так никто в то время не стригся.

Меня взяли в театр им. Станиславского с длинными и довольно-таки роскошными рыжими до плеч волосами. И вот, в мой первый сезон, когда я вошла в репетиционный зал, Анохин чуть не свалился со стула и завопил: «Безумная, что вы сделали со своей гривой»?

Дело в том, что Медю – самостоятельную студенческую работу – взяли в репертуар театра, правда, без партнёров. А я за лето поменяла «концепцию», решив, что длинных волос у неё не может быть по определению.

Довольно долго Борис Александрович смотрел на меня с укором, а потом смирился и сказал: «Ты была права».

Впрочем, я не к тому, что оспариваю первенство пострига.

«Маленький принц».

Объяснение к ненамеренному эксгибиционизму или – возникновению фотографии (см. в посте ниже), которую я не ставила. Вернее, не хотела ставить в ленту. Итак, когда поле спектакля, который я только что отыграла, в гримуборную вошла Катя Еланская, я немного удивилась: спектакль она видела, и не один раз, как доложила гримёрша, бывшая в курсе всех внутри-театральных дел и державшая нос по ветру.

Катя как всегда порывисто что-то там сказала о впечатлении, так же порывисто обняла и спросила: ты сейчас никуда не торопишься? В районе 10 вечера типа. Нет, говорю.

«Мне нужно поговорить с тобой. Серьёзно». – «Давайте», - отвечаю. Тогда мы были ещё на вы.

- Тут такое дело: не согласилась ли бы ты сыграть «Маленького принца»?

Я, как сидела, так сидеть и осталась, только с открытым ртом. Как всегда, в случае недоумения, из меня высочила идиотская фраза: «В каком смысле?»

Очень растеряться пришлось и Кате.

- Как в каком? В прямом. Олю (актрису, которая играла Принца и была беременной) совсем разносит, выпускать её в таком виде уже неприлично просто».

А надо сказать, что Бган и без того была вполне девушкой в теле, ей даже по этой причине размахайку сшили для костюма, чтобы скрыть полноту.

- Катя, - говорю, - я предложением ошеломлена. И что тебе сказать кроме «спасибо», не знаю. Дай мне пару дней на размышление.

- Не больше, Жан, пожалуйста Время поджигает. Я почти в отчаянии.

Прошло и впрямь пару дней, и когда мы встретились, я сказала: «Предложение такое. Я не могу играть то, что играет Ольга. Я не бебешка, изображать крошку-миляшку, сладенького буку тоже стану, а то, что мне пришлось в голову проверить можно только в действии. Давай я тебе покажу на репетиции, что я имею в виду.

- Ну, ты хотя бы мне дай зацепку какую-нибудь – что-ты имеешь в виду.

- Я имею в виду то же, что и ты, - говорю, - когда всё музыкальное решение спектакля строила на песнях ПИАФ. Имею в виду, что в истории присутствует трагедийная подоплёка. Не пессимистическая, не грустная, и уж точно – не инфантильная, а именно ТРАГЕДИЙНАЯ. Да, речь идёт о ребёнке. Но ребёнке МУДРОМ, ребёнке, знающем, что такое утрата, ребёнке, который наделён даром видеть и прозревать. Если дашь мне это сыграть, я сыграю. И потом, посуди сама: раз ты предложила мне такой фортель, видя меня в Медее, не больше не меньше, да ещё слышала мой голос – могу я перейти на теноровые партии?

Надо сказать, что в чём, в чём, а в авантюризме и рисковости Кате не откажешь. Репетиция, пробная, была назначена. С трактовкой Катя согласилась. И приняла даже придуманный мною конец: уже после разговора со Змейей: смерть-полёт-возвращение на свою планету.

Писать тяжело. Перечитывать не стану. Сумбурность простите. А фотографию поставила потому, что я ведь довольно ярко-рыжей породы, и надо было надевать парик. Я этого делать не хотела. И вот в ночи пришла безумная идея: купила краску, бронзовую или золотую – не помню, как называлась, которой красят могильные ограды. И вот этой самой краской меня обильно посыпали гримёры перед каждым спектаклем. Почти втирали в башку. Волосы сияли и сверкали, видно даже на фотографии.

Всё. Расставание с Розой. Дружба с Лисом (Козловым). Последние минуты с Лётчиком (Бочкарёвым) и прощание и слова утешения и надежды. Пойду вспоминать и плакать...

Лев Сабинин. («Маленький принц»)

Всегда вспоминаю и день рождения Экзюпери, занимающего в моей жизни совершенно особое место, и день его ухода, отлёта, улёта (?) на иную планету – не поворачивается язык сказать «смерти».

И вот вчера – смейтесь, сколько душе угодно, если покажется смешным – получила от него, от его Принца, привет и утешение.

Однажды врач, которого знаю почти столько же лет, сколько живу в Америке, в минуту жизни трудную, услышав, какой белибердой занимаюсь, утешил: «Очень понятная штука, Жанночка. У меня вот моя мама (в прошлом – врач, замечу), когда ей предстоят тесты, результат которых может быть неутешителен, начинает наводить порядок в шкафу».

Ну, вот примерно этим я занималась на протяжении этой недели. Правда, наводила порядок не в шкафу, а в «бумагах», и как раз за день до вчерашней памятной даты обнаружила конвертик, вложенный в альбом фотографий. Вспомнила, что он был среди большего пакета, вручённого мне после одного из спектаклей человеком, который, как выяснилось, незримо присутствовал в театре и снимал вечер за вечером спектакли с моим участием. О маленьком конвертике забыла, была убеждена, что крошечные снимочки в нём – просто миниатюрные варианты моих портретов и больших фотографий с партнёрами.

Стала разглядывать их и ахнула: 40 снимков! Это, в сущности, снятый сцена за сценой спектакль, а большие фотографии – это, как понимаю теперь, отобранные им как «удачные».

Сидела ночью, переводила всё в компьютер и решила сделать альбом. Вдруг, ну – вдруг!.. Лев Сабинин, автор фотографий, жив и услышит мои слова совершенно нечеловеческой благодарности.

Видела его ещё один раз, опять-таки дожидался после спектакля, и подарил мне две свои фотоработы. Висят у меня на стене. На них-то и увидела его фамилию. Когда вручал фотографии спектаклей, представился – просто Лев.

«Робин Гуд»

Клоринда. Мюзикл «Робин Гуд». Режиссёр Е. Еланская. С Борисом Быстровым. (Хорош был невероятно!) Театр им. Станиславского. Москва.

Этот спектакль стоит в моей жизни совершенно особняком. В нём, помимо песенок, исполняемых разными персонажами, в том числе и моим, были танцевальные номера, которые я обожала.

На спектакль большими табунами стали ходить «балетные», балетоманы, то есть, и у меня завелось множество поклонников из их числа. Надо сказать, что верность мне они сохранили и тогда, когда я из театра Станиславского ушла.

Когда у нас родилась дочка, наперебой предлагали свои услуги в качестве добровольных бэбиситеров, я порой охотно принимала их предложения посидеть с Настенькой. Чудесные ребята были среди них.

На спектакль этот однажды привела своего сынишку Наташа Горбаневская, с которой подружилась ещё до поступления в театральный, «на почве Вознесенского», как однажды она изрекла (рассказывала как-то о знакомстве). Судя по всему, Робин Гуд произвёл на мальчонку большое впечатление: захотел прийти за кулисы. Наташа привела его ко мне в грим-уборную. А надо сказать, что костюмы были у меня очень хулиганские: верх, как вы видите, вполне такой себе былых времён, с воротником а ля Мария Стюарт ну, разве что руки голые, но при этом юбка была мини. Очень мини! Так что, и ноги были голые, в восхитительных до колен сапожках. И никаких колготок. По-моему, их в ту пору и не было ещё.

И вот сидел этот Ясик в гримёрке и поглаживал своей ручонкой мою ногу повыше сапожка.

- Наташа, держи ухо востро, - сказала я ей, - задаст он жару когда вырастет!

Посмеялись. Но дорог мне спектакль пуще всего тем, что в нём меня не узнала собственная мама. На премьеру приехали мои подруги из Питера, театроведки, с которыми учились в ЛГИМИКе в одно и то же время, Таня и Нина. Сидели вместе с мамой.

И вот, когда я вышла на сцену со своим первым песенно-танцевальным номером «Рога трубят» и стала спускаться по пандусу, мама, обратившись к Татьяне, спросила ревниво: «Что за блонда такая появилась в театре? Стервозина, небось...»

- Лариса Александровна, это Жанна!

- Ну, да? - не поверила она, - какая Жанна?

И тут я запела, и мама громко ахнула от изумления, что не признала собственную дочь. Боже, как мы веселились этим вечером!!!

Жаль, не сохранилось никаких фотографий празднования премьеры, ни спектакля. Эта – то ли из програмки, то ли из газеты какой-то. Прислал доброжелатель на Голос Америки. А я сейчас привожу в порядок кое-что из прошлого и решила вот добавить в свой театральный альбом, хотя качество фиговое.

Афиша Жана Кокто

Почему иногда возникает настоятельная потребность не просто вспомнить о каком-то событии в моей прошлой жизни, в прошлом веке и, в известном смысле, «прошлой» стране? Чаще всего это связано с известием о том, что людей, встречи с которыми сыграли в моей жизни не последнюю роль, что людей этих больше нет на земле, и благодарная память о них заявляет о себе настолько зримо, что хочется и поделиться ею и сказать слова благодарности, прежде чем сама уйду в мир иной.

Но иногда это – до смешного прозаическая подробность, вот как эта: спустилась вниз, где мы работаем, и увидела пыль на одной из полок с пластинками. Тут же взялась с ней расправляться, дальше-больше, и, дойдя до висящей на стене афиши, буквально застыла на месте. Кокто «Равнодушный красавец. Человеческий голос». Одно за другим стали возникать лица людей, причастных к появлению этого спектакля. Вот примерно в таком в состоянии выпадения из времени я, уже завершив дела, подседа к ФБ и увидела, что афиша позвала меня неспроста.

...Это был год, когда тучи ещё только-только начали собираться надо мной. В театр Станиславского пришёл новый директор, и конфликт с ним был неминуем по определению: он – типичный представитель гебушного ведомства, я – неблагонадёжная особа, замеченная в дружбе с людьми, которые были у ГБ на крючке. Дружбы не скрывала, в комсомоле не состояла, собраниями, типа политзанятий, пренебрегала.

Но настоящий конфликт только назревал, а на спектакли с моим участием народ шёл крупными косяками. Львов-Анохин, взявший меня в театр, размышлял о том, какой спектакль сделать «на меня», как говорят на театре, и тут и раздался звонок Елены Якушкиной, сообщившей ему, что у неё на примете есть переведённые ею две пьесы Кокто, буквально созданные для меня. Слова эти он сообщил мне два дня спустя после звонка, поглядывая на меня поверх своих очков и слегка ухмыляясь.

Ухмылка эта, как поняла вскорости, была связана с тем, что автор пьес, имя которого мне не было в ту пору знакомо, писал одну из них – «Равнодушный красавец» – для Эдит Пиаф, и его позабавили слова Якушкиной.

Так или иначе, Анохин принял решение делать спектакль, и начальный этап работы поручил своим подручным, Валере Тищенко и Андрею Матвееву, (оба, кстати сказать, были учениками Эфроса, и, думаю, ухмылка Анохина связана был ещё и с тем, что пьесу Якушкина принесла в его театр и для меня).

Репетиции – ночные, так как постановка была внеплановой – шли полным ходом. Думаю, Жарковский (директор) вынашивал идею загубить её позднее. Анохин иногда заглядывал, одобрительно кивал головой то Валере, то Андрею, с которыми мы стали большими друзьями. Дружба продолжалась уже после того, как я ушла из театра Станиславского – и дружба, и совместная работа.

Но Кокто я сыграла уже не в театре, и работу над спектаклем продолжил Алёша, а премьера состоялась не в Москве, а в Питере.

Это было уже после постановления Министерства культуры, запрещавшего мне работать в Москве.

В 1969 году Андрей Вознесенский меня уговорил выступить ещё раз с его стихами. Концерт, который назывался «Поэзия и музыка», объявлен был в Ленинградской Капелле, и это выступление сыграло в моей жизни чрезвычайно важную роль: когда концерт окончился, ко мне подошла директор Капеллы Евгения Дмитриевна Выходцева и сказала: «Капелла для вас открыта для всего. Всего, что захотите! - повторила она «со значением», - сыграть или читать».

Так и случилось. Когда произошёл этот жуткий конфликт с властями, первое, что я сыграла в Капелле, была сделанная мной с Алёшей версия «Медеи» Ануйя на двоих, которую мы назвали «Диалоги трагедии». А вслед за этим «Человеческий голос» и «Равнодушный красавец» Кокто, которого в то время ещё нигде и никто в Союзе не играл.

Равнодушный красавец кончался как раз записью песни: «Ни о чём не жалею», столь известной в исполнении Эдит Пиаф.

Сохранилась, и я привезла её с собой, сделанная для «Красавца» моей подружкой Инной Сергеевой, потрясающая красная шляпа. Друзья переправили эскизы костюмов...

Надо, чёрт возьми, напрячься и всех помянуть добрым словом, Замечательный, доложу я вам, был спектакль.

Те, кого знала (и не знала)

О Юнне Мориц. (ФБ)

Это до такой степени, мне кажется, Ирина, за чертой любых оценок, что, в общем-то, отдаёт преисподней.

Это настоящая человеческая катастрофа. Для меня тройне ужасная, потому что считаю и настаиваю: писала хорошие стихи, среди них случались и очень хорошие. Некоторые мы включили в наш с Алёшей новый диск. И я не о детских сладеньких умильняшках.

Нет, мы не собираемся от них отречься. Но ставить вот на ФБ? Серьёзный вопрос... Просто болит от этого кошмара сердце.

Анастасия Цветаева

(Из интервью)

Ж.В.: Я, надо сказать, знала о том, что существует рассказ о вечере в доме Куниных, написанный известным ученым, Виталием Григорьевичем Сыркиным, занимающимся по совместительству литературоведческой работой. Вигс – это его прозвище в кругу друзей. В мои руки он попал совсем недавно, его прислал мне сын поэта Германа Плисецкого, Дима, за что я и ему, и Вигсу безмерно благодарна. Он вернул моей памяти частично подробности вечера и последовавшей за ним встречи, совершенно меня потрясшей, с Анастасией Ивановной.

С.В.: Чем потрясшей?

Ж.В.: Ну, во-первых, после испытанного мною шока от того, что она отчебучила перед началом вечера, вплоть до заявления о том, что, по ее глубокому убеждению, читать стихи ее сестры артисткам не следует – услышать, что она зовет к себе и, несмотря на очевидный успех вечера, вероятность еще чего-нибудь в этом роде... А тут вхожу, и она поднимается навстречу и каким-то таким странным, почти неуклюжим жестом протягивает мне цветы, и я понимаю, что – все, что сейчас я ее увижу... Потому что, когда она читала свои мемуары, я ее не видела, а только думала о том, как бы не произнести вслух что-нибудь нецензурное.

Она меня усаживает и говорит чуть-чуть насмешливо: «Делать вам замечания, я понимаю, бессмысленно». А я мямлю что-то типа «ну, почему же, я ведь не собираюсь в данный момент умирать, значит, буду продолжать работать над программой...». И она начинает говорить о каком-то ударе, я умудряюсь вступить с ней в спор, и вдруг я ее вижу...

Невероятное благородство осанки, и стоящая за этой осанкой судьба, и судьба еще тысяч таких как она – погранных, сгноенных в лагерных бараках России... Я несколько минут просто совсем не могла отвечать на ее вопросы – что-то о том, как давно я в театре, как давно живу стихами Марины – я что-то лепечу в ответ и замечаю, что меня бьет крупная дрожь. Замечает и она и начинает набрасывать на меня кофтенку...

И кажется в этот момент я вдруг вижу, что сквозь это лицо проступает лик Марины... Не то чтобы они очень похожи, но этот нос, овал, осанка, какая-то стать... И одновременно сжимается сердце, потому что я вдруг вижу, как бедно она одета, и какое в

этой бедности достоинство и изыск. Застиранная серая блузка и чуть ли не на заштопанной кофточке – старинная брошка, уж точно не нашего века...

Должна сказать, что потрясли меня не только слова, которые она сказала мне, но и то, что она для меня, для моей программы сделала. Она связалась с известным цветаеведом Львом Мнухиным, который выступал с неофициальными лекциями о Марине, и, по ее настоятельной рекомендации, он пригласил меня участвовать в своих поездках. Так началась неофициальная жизнь программы.

Андрей

(Ко дню рождения Андрея Вознесенского 12 мая 1933 года)

Частично повторенные, частично дополненные воспоминания, на случай, если другого случая не представится...

За год до того, как я начала учиться в Питере в театральном, приятель привёл меня к Андрею Вознесенскому в гости и вдруг, не сходя что называется с места (внутренне улыбнулась, написав это, потому что «места» в миниатюрной его комнате было совсем мало), возвестил с усмешкой: «Андрюша, не хочешь послушать пару стишков»? Тот недоумённо переспросил: «Стишков»? (Приятель поэтом не был). «Стишков», - подтвердил он невозмутимо. «Давай», - великодушно согласился Андрей. «Давай», - повернулся в свою очередь ко мне приятель. Я, опешив и разгневавшись: «Что за шутки. Ничего я давать не буду!» Но тут, уже заинтригованный моим отказом, Андрей произнёс великодушно, решив, вероятно, что перед ним юное поэтическое дарование: «Пожалуйста, право, не стоит сердиться, я охотно послушаю». И тут уже мне под хвост вожжа попала, и я подряд прочла два или три его стиха.

Он как сидел с открытым ртом, когда я читала, так и остался сидеть. Только очень побледнел. Потом я поняла, что вызвало у него шок. Я никогда не слышала, как он читает. И оказалось, что читаю не просто похоже, а просто совершенно так, как он: и интонационно, и даже пластически, как он, закидывая голову в каких-то местах, и так же, как и он, жмурясь, доходя до особо дорогой ему строки. Авантюризм, присущий Андрею, тут же включился на полную катушку, и он, обретя дар речи, сказал, что у него возникла блестящая идея: отныне, если я только захочу, он будет брать меня на свои вечера, чтобы сначала читала я, открывала, то есть, выступление, а потом – он. Сказать по правде, я даже не сразу поняла, что означает эта его «блестящая» идея! Я только-только начала оправляться от неудачной попытки поступить в Москве в театральный институт с приговором: ничему учить не нужно, профессионализм налицо (это у меня, у пацанки!), что в подтексте означало: строптива, на всё имеет своё суждение, дрессировке не поддаётся и т. д. Вывод, к которому пришёл при «работе» со мной над монологом перед третьим туром некий – по сей день утверждаю! – бездарный товарищ, он же – педагог школы-студии МХАТ.

Но я отклонилась.

Начались переговоры: приятель объяснял, как выступления будут мне полезны, Андрей же напирал на то, что, так как его стихи мне близки, я, читая их вместе с ним, послужу святому делу поэзии. Что и решило исход дела. Андрей стал таскать меня с собой по самым разным площадкам, от больших и не очень Дворцов культуры до – однажды! – даже Курчатовского института. Торжественно возвещал он мой выход на подмостки

примерно так: я рад сегодняшней встрече, но сначала несколько моих стихотворений прочтёт вот эта рыжекудрая девочка, актриса Жанна Владимирская (это было, как я уже упомянула, за год до поступления в Питере в Театральный институт, и никакой актрисой я не была – так, девочка с улицы, хоть и впрямь рыжая. Сразу же упомяну, что Андрей навсегда закрепил за мной «Гойю» и, как ни странно, так как написано от первого лица – «Свисаю с вагонной площадки». Никогда их сам не читал, когда выступали вместе. И вот однажды был вечер Андрея в ЦДРИ. Выступал лауреат Всесоюзного конкурса чтецов Андрей Гончаров, заслуженная артистка Валентина Попова, я и, конечно, сам Андрей. По окончании стоим в фойе в окружении Андриюшиных знакомых и почитателей, подходит какой-то, как мне помнится, сухопарый и очень пожилой человек и щебечет: «Ну-ка, ну-ка, Андриюша, позвольте-ка мне облобызать эту девочку!» И, прежде чем облобызать, представляется: «Кручёных». То, что последовало дальше, знаю из свидетельства присутствовавшей при этом приятельницы, ибо конфуз вышел изрядный, а я о нём благополучно забыла: «Как Кручёных? - говорю, - я думала, вас уже давно нет в живых». После минутного замешательства раздался радостный хохот окружающих и лобызание состоялось. Приятельница утверждала, кстати, что Андрей даже взревновал к комплиентам Кручёных в мой адрес. Но это не так, у неё была просто склонность всё слегка приукрашать. На самом деле была я «находкой» Андрея, которой он гордился и которую с удовольствием демонстрировал.

Когда я уехала в Питер и поступила в ЛГИТМИК, общение с Андреем не прекращалось. Хотя в его выступлениях в Питере я уже не участвовала: мы сообразили, что моим взаимоотношениям с Лебедевым, моим педагогом, это может повредить.

Когда я вернулась в Москву и уже и впрямь стала законной «артисткой», Андрей, признаюсь, ужасно огорчился тем, что я буду работать в театре им. Станиславского, и долго втолковывал мне, что моё место у Любимова. Но у него была своя корысть, а я точно знала, что у Любимова мне делать нечего и быть там не надо.

Однажды Андриюша уговорил меня, даже, я бы сказала, уломал выступить ещё раз с его стихами. Это был 1969 год. Концерт назывался «Поэзия и музыка», объявлен был в Ленинградской Капелле, а он уезжал куда-то за рубеж. И вот я подготовила большую программу, всё второе отделение вечера (в первом была музыка Андрея Петрова), и тут, как я подозреваю, сказался его опыт публичного общения с Хрущёвым. Андрей был уже пуганный, и потому, слегка смущаясь, попросил меня прийти к ним с Зоей на Котельническую и почитать. Речь шла не о том, как я буду читать, а – что. Знал, что от меня можно ожидать какого-нибудь фортеля, что и впрямь случалось. Я, скажем, учинила конфуз в Институте Курчатова. Когда попросили почитать на бис и выкрикнули какое-то название, я, неожиданно для самой себя, брякнула: «Давайте я лучше прочитаю вот это!» В то время я бредила Мандельштамом и для затравки прочитала «Я скажу тебе с последней прямой». Зал притих, он был, надо сказать, вполне подкованный: те самые физики, которые были очень даже лириками. Реакция в конце была бурной, и я, разохотившись, успела прочесть ещё «Жил Александр Герцевич», после чего Андрей меня практически со сцены уволок, а я его утешала: «Ну, Андрей, ну я же никто, ну ничем это тебе не грозит, ну клянусь!». Потом, уже на вечеринке, жутко гордилась: ко мне подходили учёные мужи и пожимали ручку, а некоторые и прикладывались к ней с подмигиваньем.

Так вот, возвращаясь к просьбе прийти и почитать. «Ладно, - говорю Андрею с подначкой, - приду, утрясём мы с тобой «рэпэртуар». Но ведь на бис будут просить, что

тогда»? Стерпел и смолчал. Пришла, обсудили варианты, но – напорочила-таки! На бис просили. И читала много. И случился тогда самый, что ни на есть, замечательный момент из серии «никогда не забыть». Начинаю читать «Немых обсчитали, немые вопили...» (а надо сказать, что в ту пору это вполне невинное стихотворение считалось чуть ли не ересью), читаю вторую строчку: «Медяшек медали влипали в опилки...» – и полный, абсолютный, чёрный провал! Просто затмение. Ничего страшнее на сцене быть не может. Случилось потом ещё раз, в гастрольях в Куйбышеве на спектакле «Там, вдали» во время песни Высоцкого «Здесь лапы у елей дрожат на ветру». Надо начинать припев, а первая строка куда-то улетучивается, я стою «не меняя выражения лица», как потом рассказывали Тамара и Артур Краюшкины, музыканты, с которыми очень подружилась во время недолгой работы в Куйбышевском театре, смотрю задумчиво и мечтательно, по их же словам, музыканты тоже делают вид, что всё в порядке – продолжают играть, а я вступаю в песню со второй строки. Но это был всё-таки спектакль, и была возможность как-то обыграть паузу и, даже если бы ничего не вспомнила – тоже. А тут – голая, внушительных размеров эстрада Капеллы, я одна посереде, уже без кудрей, но всё ещё рыжая, в мини-платьиче (специально спроворенным для этого выступления и очень, кстати, одобренным и Зоей, и Андреем) и – гробовая тишина зала. И вдруг, справа от эстрады, раздаётся спокойный и внятный голос Андрея Петрова: «И гневным протестом, что всё это сказки...». Он – в ложе, я – на сцене, и, уже сознательно выдержав паузу, продолжаю: «Кассирша, как тесто, вздымалась из кассы...».

Потом он утверждал, что никто ничего не заметил. Дуэт и всё тут! Поэзия и музыка. Хохотали после выступления до потери сознания. А выступление это сыграло в моей жизни чрезвычайно важную роль: когда концерт окончился, ко мне подошла директор Капеллы Евгения Дмитриевна Выходцева и сказала: «Капелла для вас открыта для всего. Всего, что захотите! – повторила она «со значением» – сыграть или читать».

Так и случилось. Когда произошёл жуткий конфликт с властями, и мне практически запретили работать в Москве, первое, что я сыграла в Капелле, была сделанная мной с Алёшей версия «Медеи» Ануий на двоих, которую называли «Диалоги трагедии». А вслед за этим «Человеческий голос» и «Равнодушный красавец» Кокто. Которого в то время ещё нигде и никто в Союзе не играл и перевод которого принесла для меня в театр Станиславского Елена Якушкина.

Так что на всю жизнь сохранила благодарность судьбе за то, что она свела меня с Андреем, и за его идею брать меня на свои выступления, и за его подарок, привезённый из Америки – потрясающий плащ ржаво-красного цвета, который у меня увели в Питере во время вступительных экзаменов, и который я некоторое время, с надеждой опознать похитителя, высматривала на улицах, и за его щедрый жест, когда, оставшись без работы, сидела буквально без копейки, и он всучил мне изрядную сумму, которую ни за что не захотел принимать, когда я была в состоянии вернуть её, и за памятный вечер в ЦДРИ, после которого состоялось знакомство, вполне комичное, не только с Кручёных, но и с Наташей Горбаневской, с которой подружилась.

Как ты там, Андрюша? Надеюсь, узнаем друг друга при встрече...

Бродский и я

Стишки Бродского (как он сам говорил) узнала в бытность мою студенткой театрального в Питере, ходили в списках. Тогда же и познакомилась. Почему редко упоминаю – точнее, избегаю упоминать, что была знакома? Во-первых, потому что знакомство было поверхностным. А, во-вторых, сейчас практически все, кто рядом сидел, стоял или просто – проходил мимо, смело заявляют: знали, дружили и вообще – свои люди. В этом контексте куда лучше «молчать, скрываться и таить».

«Расколола» меня замечательная совершенно женщина Дина Михайленко, перед приездом моим в Миннесоту с новым спектаклем, в основу которого легли не только стихи, но и эссе и выдержки из интервью разных лет. Дина мой приезд в Миннеаполис организовывала (это бы наш третий приезд, до этого я играла там ахматовский и цветаевский спектакли), попросила дать интервью для местной газеты, и я посчитала вполне уместным упомянуть своё, условно говоря, «знакомство».

Иосифа я встречала пару раз в доме архитектора и живописца Юры Цехновицера, где бывали питерские поэты и куда попала я со своим тогдашним московским приятелем, назовём его Н, приехавшим меня навестить и заодно выяснить, в чём причина моей холодности, которая ему почудилась в телефонном разговоре...

Должна сказать, что квартира на Адмиралтейской, куда я попала, меня безусловно ошеломила: и её огромность, и невиданная мебель, и чуть ли не старинные фолианты в шкафах, плюс – колоритная, чтобы не сказать экзотичная толпа и общая атмосфера, то ли маскарада, то ли какой-то тайной ложи.

Среди присутствовавших в тот первый приход был и Иосиф, но я всё больше глазела на самого хозяина и нескольких, до чрезвычайности красивых женщин, одной из которых оказалась его жена, Ирина Новодворская, словно сошедшая с картин Гейнсборо – так показалось мне в тот первый вечер.

Встречена была я с должным вниманием и даже интересом. Не думаю, что интерес имел непосредственное отношение ко мне, скорее – к приведшей меня знаменитости. За ним числилась слава жутчайшего бабника, и многих, как я потом поняла, удивил тот факт, что было совершенно очевидно: я – не очередная его «женщина». В дом я стал вхожа уже и сама по себе, и, когда стало известно, что великого человека я-таки бросила, даже завоевала некоторое к себе почтительное отношение.

Впрочем, и на «приемы» к Цехновицеру я не слишком стремилась захаживать: у меня, времени на то, чтобы поддерживать какие бы то ни было светские связи, решительно не было никакого: в институте играла на всех режиссёрских курсах, так что вкалывала как сивка-бурка с утра до вечера. Но пару раз-таки в потрясающей квартире в доме на Адмиралтейской набережной бывала. А потом знакомство с ним закрепилось встречей уже совсем в другой компании, на дне рождения Наташи Горбаневской, с которой подружилась в Москве.

Наташа приезжала сдавать свои экзамены (училась заочно), и всегда приходила на мои актёрские показы, как бы меня немного даже опекая. А познакомилась я с Наташей предельно забавно. Это был вечер Вознесенского, выступали помимо него самого актёры – и я. В ту пору я уже была отвергнута при поступлении Школой-студией МХАТ с приговором: девочке нечему учиться, она уже профессионалка. По-моему, это была завуалированная форма приговора «учению не поддаётся». И – не без оснований: перед третьим туром меня «натаскивал» Евгений Радомысленский, сын самого ректора

училища, и я вступила с ним в препирательства относительно того, как надо читать монолог из Лопе де Вега.

Тётя Катя Головина, как её называли, мама Володи Головина, с которым я познакомилась, и в доме которых даже жила некоторое время, в ответ на мой рассказ о том, что я позволила себе не согласиться с педагогом сказал, посмеиваясь: «Судьба будет нелёгкая, но – своя. А будут говорить, что с тобой непросто работать, отвечай: я работаю, а мне предлагают не работать, а не думать. Не смогу...» Но отвлеклась, однако.

Андрей таскал меня на свои выступления: я разогревала публику почти по закону выступлений рок-звёзд, всегда выпускавших в начале концерта кого-то неизвестного. Так вот: стоим мы после окончания вечера, Андрей окружён толпой почитателей, и вдруг, буквально прорывая круг, передо мной вырастает крошечная женщина и произносит, почти задыхаясь: «Зачем вы читаете такое – указывая в сторону Андрея, вы – такая...»

Все застывают, как в немой сцене «Ревизора», а она требовательно продолжает: «Отойдёмте». Отхожу, и она суёт мне в руки тетрадочку (оказалось с её стихами) и говорит: дайте мне ваш адрес. Я, как миленькая, даю. Придя ко мне в мою конуру на Плющихе, в страшном домишке в коммуналке, где жило, по крайней мере, двенадцать семей, я – в конце длиннющего коридора, в довольно-таки просторной комнате с окном, в которое можно было входить, то есть, в почти полуподвальном помещении – так вот, придя ко мне, Наташа, после того, как знакомство состоялось, и возникли вполне доверительные отношения, увидела стоящую у меня на полу пишущую машинку и деловито поинтересовалась: «Действующая»? – «Действующая», - сказала я. И Наташа стала таскать для перепечатки свои и чужие, ходившие в списках стихи. И, как я уже упомянула, дружба продолжалась и когда я поступила в театральный.

И вот, на одном из её дней рождения присутствовал Иосиф, и, видимо, тогда она ему поведала, что наше знакомство состоялось на вечере Вознесенского. И однажды у Цехновицера он сообщил присутствовавшим, что вот рыжая девушка – указывая укоризненно в мою сторону, как сообщила мне Горбаневская, читает публично стихи Вознесенского. «Читала. Да, - сказала я с вызовом, и меня начали предавать громко и безжалостно, анафеме. Отбиваясь, я произнесла: «Между прочим, и Мандельштама читаю. И один раз даже публично. И даже не где-нибудь, а в Курчатовском институте. Это произвело впечатление. Но, как ни странно, в памяти не вот эти встречи в компаниях, а случайные, например – в филармонии, без слов: запомнила его румяным и, как бы сказать поточнее, каким-то опрятно-домашним, даже уютным, и несколько смешных эпизодов на Литейном, по дороге на Моховую, где я училась. Он – неторопливо вышагивающий, а я – вечно опаздывающая и мчащаяся рысью. Так что даже не встречи, а – столкновения с коротким обменом приветствиями и довольно неожиданными замечаниями и шуточками. На ходу – «привет-привет», а он вдруг, всматриваясь (рожа, что ли была помятой?): «Любите поспать?» – «Д-да» – «Сны?» – «Да» – Он, одобрительно: «Я тоже...». И разбежались.

Помню, как вздрогнула, прочтя много лет спустя: «...неохота вставать. Никогда не хотелось». Зашибло же меня Бродским наповал, когда я услышала, как он читает свои стихи. Однажды в моём новом жилище на Владимирском проспекте (комнату в огромной коммунальной квартире мне сдала, кстати сказать, Ирина Новодворская, подруга Цехновицера), так вот раздался звонок Герман Плисецкого, с которым дружила. Отменяй, рыжая всё на свете. Заеду за тобой в семь ровно», - сообщил мне важным и непререкаемым голосом Герман и повесил трубку. Я не знала, что меня ждёт. А ждало

меня чтение Иосифа в Кафе на Полтавской (боюсь ошибиться, но спросить уже не у кого). Это было шаманство, ворожба, нечто немислимое, и я была совершенно потрясена, сидела окаменевшая и хлюпающая от восторга. Возникшее тогда непреложное чувство, что передо мной гений чистой воды, подтверждалось вслед за этим стихами, сначала – в Москве, а потом – попадавшими к Герману через его приятельницу из Америки. А затем мы волею судеб оказались «соседями» Бродского, перебравшись в эту самую Америку и поселившись в Нью-Йорке, где я даже побывала в его квартире в Гринич Виллидж, хотя, признаюсь, испытала почти священный ужас, когда в ответ на мой звонок он немедленно предложил заглянуть к нему на Мортон стрит. К этому времени он был для меня фигурой почти легендарной, и я твёрдо знала, что кумирам нужно поклоняться издалека.

Позвонить ему в Нью-Йорке я решилась, потому что позвонившая мне из Парижа Наташа Горбаневская заявила, диктуя мне телефон Иосифа, что позвонить я ему обязана, что она ему сообщила о том, что я только-только приземлилась в Нью-Йорке, что он меня помнит, и что вообще – как же не позвонить Иосифу?

Он сразу же решил, когда мы с ним встретились, что моему голосу немедленно, просто не сходя с места нужно найти применение, и стал «делать звонки», как он выразился, в Нью-Йоркский отдел Голоса Америки. С неожиданным для себя результатом. Дама, которой он позвонил (не стану называть, зла не держу), остудила его энтузиазм, сообщив, что Голос Америки на работу сейчас никого не берёт, в новых сотрудниках не нуждается, ну, и что-то ещё в этом духе. Думаю, что советские эмигранты уже сумели произвести должное впечатление на аборигенов. Так что, на Голосе я стала работать три года спустя, и это – другая история.

А Иосиф, после того, как мы навели мосты в разговоре на Мортон, сказал, что так меня не отпустит, что мы сейчас идём ужинать. Любите китайскую кухню? «Понятия не имею, что это такое», - сказала я. «Да что вы? - удивился он, - Тогда тем более идём». Уже позднее я узнала о его пристрастии, помимо ностальгических русских блюд в русском ресторане, именно к китайской еде.

Очень растерялась я, когда увидела, что он уверенно берёт в руки палочки: попробовав сделать то же самое, я поняла, что это безнадежно, и он, великодушно подозвав официанта, попросил принести нормальные в моём понимании приборы. Так, кстати сказать, и не научилась: у меня всю жизнь имеет место «дрожание рук». Лебедев, мой педагог, даже преподавал мне специальный урок того, как скрывать это на сцене.

Но в тот вечер у меня ещё дрожали и ноги. Нервничала. Только после глотка чего-то тоже незнакомого пришла слегка в себя. А вот когда мы шли по совершенно раскалённому июньским зноем Нью-Йорку, Иосиф, скосив глаз в мою сторону, изрёк: «Всё-таки вы не совсем свободно себя чувствуете» – я буквально поперхнулась готовой сорваться с губ фразой «Не совсем? Да я дурею от ситуации. И от того, что это уже – другой Иосиф. И от того, что он мне такой нравится, и от того, что это Нью-Йорк, и что я уже в этот Нью-Йорк влюблена. Позднее я, кстати, сочла почти комплиментом это его НЕ СОВСЕМ. И решила, что я уже – на пути к просто свободе, от прежней своей свободы в режиме сопротивления и – от чего-то, свободы отторжения и неприятия.

В нашей новой с Алексеем и далеко не простой жизни его свобода, его стихи, стали безусловным моральным компасом (с Алёшей познакомила Иосифа через пару дней, а десять лет спустя, когда Иосиф стал поэтом-лауреатом при Библиотеке Конгресса Соединённых Штатов, Алёша взял у него по этому поводу большое интервью).

А я, в одном из своих интервью, говоря о том, что стихи Иосифа значили в моей жизни, сказал и повторю:

Больше всего поражало и поражает до сих пор его мироощущение свободного человека. Знать, что кому-то оно безусловно дано, и что этот человек живет и действует рядом, в одно время с тобой – было огромной радостью и помогало жить.

Чудаков. (ФБ)

Глубоко потрясена этим страннейшим для меня посланием из прошлой жизни...

Видела Чудакова пару раз. Помню расхристанность его облика и, одновременно, его романтичность, что ли. Во всём был и вызов и «плевать на то, какое впечатление произвожу».

Вызвал совершенно жгучий интерес. Помню, что на мои расспросы мой тогдашний приятель-скульптор, в мастерской которого Чудаков однажды появился с целой кипой книг подмышкой, отмахнулся, процедив что-то вроде «проходимец» и «тёмная личность». Занятно, что эти слова произнёс человек живший как бы в противоборстве с системой и одновременно дороживший, как и упомянутые здесь поэты, знаменитостью внутри неё. К ней стремившийся. Такое вам спасибо, Владимир, за этот материал. Распечатала и буду теперь вчитываться и наслаждаться стихами.

А «На смерть друга», обожаемое, звучит, кстати сказать, в моём спектакле «С берегов неизвестно каких...». Такие странные кружева плетёт Мойра. Ну, ещё раз скажу спасибо!

Элендея Проффер

Для тех, кому это имя незнакомо: благодаря американским славистам Карлу и Элендее Проффер, основателям издательства Ардис, русскоязычным читателям стали доступны книги, которые не могли быть напечатаны в СССР по цензурным соображениям. Все поэтические сборники Бродского увидели свет именно в этом издательстве (не без гордости скажу: все они есть у меня, и, иначе как к драгоценностям, к ним не отношусь).

Почему мне кажется эта небольшая книжка Элендеи такой важной?

О Бродском написано очень много: одни склонны возводить его чуть ли в не в ранг божества, другие приходят в неистовство, когда кто-то осмеливается позволить себе даже минимальную критику его стихов, третьи, на противоположном конце спектра, вообще отказывают ему в поэтическом таланте и называют чуть ли не графоманом.

Всё чаще звучат голоса людей, с готовностью смакующих любые интимные подробности его биографии и жадно выискивающих порочащие его детали.

Ещё одни утверждают, что, не окажись Бродский под крылом у Профферов, дружеские отношения с которыми длились долгие годы, не видать ему ни славы, ни Нобелевской премии.

Профферы и впрямь сыграли в жизни Бродского чрезвычайно важную роль: Карл встречал Бродского в Вене, куда тот, выдворенный из страны, прилетел в 1972 году; благодаря Карлу состоялась встреча Бродского с Оденем; он, Карл Проффер, добился для

Бродского приглашения на преподавательскую должность в одном из американских колледжей... Все эти факты разыгрываются, как козырная карта, с помощью которой пытаются склонить читающую публику к мнению, что, не будь этого, Бродский не сумел бы вообще реализовать себя на Западе.

Но Элендея всего лишь одной фразой ставит всё на свои места: да, Бродскому помогали, да, его опекали, да ему буквально раскрыли объятья многие видные фигуры в литературном мире Америки. Но ум и чуткость Иосифа сыграли во всём этом важнейшую роль. «Связи были у многих, - ответила Элендея одному агрессивному, враждебно настроенному по отношению к поэту человеку, - но не все получают Нобелевскую премию. Бродский прибыл в Штаты как особый человек. И, потрясённый незаметным положением в стране поэта, был полон решимости это исправить. Русскому интеллигенту открыто признаться, что он желает славы – почти позор. Иосиф, - говорит Элендея, - был сам себе законом. Если у тебя слава, у тебя есть возможность влиять на культуру, если ты прославился, ты показал Советам, что они потеряли».

Я читала эту книгу почти умилённо, потому что за всем, за очень иногда нелестными для Иосифа подробностями его не слишком порой, скажем так, красивого поведения, за жёсткой критикой того, что имеет уже непосредственное отношение к его стихам – собственным их переводам, например – за всем этим стоит огромная любовь, и, я бы сказала, даже нежность.

Элендея Проффер, отдавая отчёт в масштабе личности Иосифа, будучи свидетельницей того, что единственный бог, которому Бродский служил, был бог поэзии, выносит суждения, не осуждая, восхищается без подобострастия, и, главное, понимает, чему она была свидетельницей на протяжении многих, многих лет.

И последнее. Элендея рассказывает в этой книге и о Карле – удивительном человеке, страстно влюблённом в русскую культуру, в русскую литературу, и открывшем для русскоязычных читателей прежде всего Набокова, а, вслед за ним – ещё множество имён. Без него не было бы Ардиса, и не было бы напечатанных в Ардисе стихов Бродского.

Сейчас, накануне семидесятилетия поэта и всей той помпы, которой празднование это будет сопровождаться, упомяну о том, что Элендея признаётся, что её очень огорчает идея создания музея Бродского: «Этого магнетического и трудного человека из плоти и крови пожирает памятник – чудовищный процесс, учитывая, сколько в нём было жизни», - сокрушается она.

Прислушайтесь вот к этим её словам: «Верить в высшую силу Иосифа заставляло само присутствие его дара. И, как Блок, он был поэтом каждую минуту своей жизни. Иосиф Бродский был полон огня и предубеждений, он жаждал признания и был гением». Счастлива, что я прочла эту книгу, очень хочется, чтобы её прочитали как можно больше людей. Хороший подарок и впрямь ко дню рождения Бродского.

Роберт Уилсон и Барышников

Последовательно и неумолимо морочит голову своей «концепцией» формального театра. Говорю это не как противник как такового, а как человек, который ждёт от театра – всегда – информации, которая не требует расшифровки. Здесь и сейчас. Эмоциональной, да. Даже если её «смысл» доходит уже после.

Американского зрителя морочить: института Театра в русском понимании в Америке нет, есть шоу-биз. А театр – он существует в случайных, не определяющих ситуацию постановках. И «Старуха» – тот случай, когда у публики просто была тонкая кишка встать и сказать: Хватит. Порезвился и будя...

Безусловно гипнотизируют имена и Дафое, и Барышникова. Первый – отыграл, порезвился и забыл: к его услугам кинематограф. Барышникову «очень хочется» и, на мой взгляд, совершенно всё равно – что. Лишь бы не сходить со сцены.

Его последние балетные опусы вызывают чувство неловкости просто. А в театре он – под прикрытием репутации. Своего и Уилсона, титул которого «гениальный режиссёр» припечатан навечно.

Видела Барышникова и в другом театральном опусе, в постановке какой-то захудалой, полупрофессиональной компании в «Человеке в футляре». Где ему приходилось ещё и говорить. Правда с микрофоном. Больше всего поразило, как неловко он движется.

Грандиозный танцовщик, способный на самые невероятные пируэты и прыжки – оставлял ноги позади себя. Волочил, то есть. Первый признак неорганического существования на сцене.

Думаю, русские актёры в лучшем положении. И симбиоз пройдёт безболезненно.

Полная Луна и Гилельс

Читаете ли вы гороскопы? Я вот читаю, признаюсь, не смущаясь. Точнее, за просмотром утром Вашингтон Пост (бумажной, бумажной! – люблю пошуршать и даже шваркнуть на стол по прочтении чего-то из ряда вон) не упускаю случая прочесть и гороскоп. Порой вызывает просто-таки неудержимые приступы смеха своими формулировками. И пророчествами.

Правда, сегодня я не так, чтобы смеялась, вспоминая вчерашнее. Вот он, дословно: «Вы вообще-то экстраверт (да ну, дайте честное слово?), но сегодня у вас возникнет желание на некоторое время «уйти в себя». Полная Луна может стать причиной проблем и вызвать даже раздражение. Ваше желание укрыться за холмом – в самую точку».

Ну, так вот: бессонница – это одно, бессонница в ночь полнолуния – это уже не раздражение, это уже вопль отчаяния. И сегодняшней ночью я-таки возопила. Но сыгранная со мной вчерашним вечером шутка была тоже очень недурственной, почти, как говорится, на грани добра и зла...

Возвращаюсь я, стало быть, домой. Ну, не так чтобы поздно: время к десяти. Зачем чёрт меня понёс выехать из дому, когда солнце уж клонилось к закату, не знаю. Так или иначе, завершив бытовые всякие дела, сажусь за руль и уже собираюсь включить мотор, как буквально замираю от восторга: она, луна, то есть, просто-таки смотрит в ветровое стекло. Хороша до невозможности: огромная, таинственная, зазывная, манящая, а в небе – ни облачка. «Вот оно что, - говорю себе, - как это я не сообразила прошлой ночью, что бессмысленно бороться было, раз она – вот такая...

Трогаюсь с места, поглядываю на неё, а она – будто со мной поигрывает: то голубой кажется, то ярко-золотой. Выезжаю на шоссе, включаю свою дежурную станцию классической музыки, слышу первые аккорды третьего бетховенского концерта. Дорога впереди знакомая, особо напрягаться не нужно, и как-то само собой всплывает сцена из далёкого-далёкого прошлого.

Лето, тёплый июньский день. Я – в Горьком, в первой гастрольной поездке. Репетиция закончилась полчаса назад, сижу себе на скамейке в парке с текстом, но не то чтобы читаю, скорее – задумалась над ним. До отъезда в Ригу, где должна состояться премьера спектакля, с которым показывалась в театр, куда, по решению худсовета, была принята вместе со сделанным в институте спектаклем, оставались считанные дни. Идёт ввод актёров на все роли кроме моей. Словом, задумалась. И вдруг – голос надо мной: «Отчего девочка такая грустная, того и гляди заплачет?».

Поднимаю голову – надо мной двое: один пожилой и не то чтобы грузный, но солидный такой дядя, другой – небольшого роста, крепенький, помоложе. Я: «Нет, плакать не собираюсь». И смотрю выжидательно: мол, вам-то какое дело? Тот, что помоложе и, понимаю уже, что изрядно-таки помоложе, улыбается, а задавший вопрос – елейно: «А что это девочка читает такое?» – «Текст, - говорю, - читаю». – «Текст? – переглядываются, - А что за текст?»

Я чувствую, что уже грублю, но удержаться не могу: «Это у вас дуэт, что ли такой? Кадрёж в два голоса? И тут оба расплываются в улыбке». – «Да нет, - вступает в разговор тот, что моложе, - Просто и впрямь подумали, что у вас случилось что-то очень неприятное, уж очень лицо было какое-то отчаянное...» - «Да текст пьесы, который смотрела, не из весёлых».

И тут завязывается вполне дружелюбная беседа.

- А что за пьеса?

Объясняю.

- Ого! Ни пуха вам! Да и мы вот через пару дней двигаемся дальше. Вы сегодня вечером что делаете?»

Кажется, всё-таки кадрят, думаю, но жду продолжения.

- Ничего, - говорю, - свободна.

- А я вот буду счастлив увидеть вас сегодня в филармонии.

- А там – что?

- А там – я.

И тут соображаю, что откуда-то лицо его знакомо.

- Вы – кто?

- Гилельс, - представляется, - Эмиль.

Пожилой оказался его администратором. И вот была я, конечно, на концерте, и играл он этот самый третий Бетховенский, и испытала неслыханное и незабываемое блаженство...

И вот тут, вспоминая те волшебные минуты, понимаю, что я свернула не туда, куда нужно, и еду чёрт знает где, и тут же с ужасом осознаю, что я – на скоростном шоссе, и что сбавить скорость нельзя, и что ещё одну автомобильную катастрофу мне не пережить. Уговариваю себя не паниковать, ехать, пока не соображу – где я.

Взглядываю на бензиновый показатель и, хоть и трясусь от несоразмерного происходящему страха, говорю себе: хватит добраться до Балтимора, потому что вижу указатель дороги на Балтимор. Город, то есть. В другом штате. Идиотски хихикнув в ответ на эту мысль, неожиданно не то что успокаиваюсь, но слегка беру себя в руки. Понимаю: надо куда-нибудь съехать и выработать план действий. Что и делаю.

Съезжать пришлось дважды, и на Арлингтонский бульвар, который ведёт в наш городок, хоть и в направлении, прямо противоположном нужному, попала скорее случайно, по пути пару раз оценив благородство терпевших мои метания автомобилистов.

Благополучно развернувшись в нужном направлении и уже почти у дома, на знакомой дороге, снова включив радио, услышала, что началась финальная часть концерта.

Иными словами, проплутала я при луны волшебном сиянии минут двадцать точно. И это не жук начхал, доложу я вам...

И – не лёгкое раздражение, которое сулит мне гороскоп сегодняшней. Но, так или иначе, сижу дома, «починяю примус», никуда, в видах предупреждения гороскопа, не собираюсь выползть и строчу вот эти строки.

Ну, и картинки вот решила поставить... Гимн луне, обманной и волшебной...

P.S. домашние, когда вошла в дверь, вели себя благородно: от упрёков – почему не позвонила – удержались.

P.P.S А играл вчера, как выяснила сегодня, совершенно невероятный Артуро Микельанджело, которого очень люблю. Но для меня Третий Бетховенский концерт навсегда связан с именем Гилельса. И теперь уже – с полной луной и её каверзами.

О Набокове

В отличие от тех, кто категорично и не без оттенка гордости возвещает: не люблю и не перечитываю никогда уже читанное, я, без деклараций по этому поводу и несколько этих людей не осуждая, признаюсь: перечитываю. Стихийно. Когда возникает совершенно неодолимое желание вернуться к тому, что когда-то задело, потрясло, взволновало, оставило след в душе. Я не об изящной словесности. Стихи любимых поэтов читаю и перечитываю, я ими и с ними живу. Я о беллетристике и – реже – философской литературе.

Именно в последней я неожиданно нашла одобрение своей склонности возвращаться время от времени к прочитанным книгам. «Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов: питать ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде, тот нигде». Слова эти принадлежат Сенеке, которого я читала в пору своего долгого вынужденного возлежания после автомобильной катастрофы.

Выбор был случайный: иногда, будучи неподвижной, просила просто достать с полки книгу наугад: типа, допустим, третий ряд, пятая справа. Вот так и попали мне в руки его «Нравственные письма».

К чему я?

А к тому, что пару месяцев назад возникло настоятельное желание перечитать набоковский «Дар». Хорошо помню острое чувство ожога и ошеломления от романа, первого из набоковских, прочитанного в юности. Я им просто заболела, и, приступая к чтению теперь, через столько десятилетий, я слегка даже волновалась: вдруг былые чары развеются, оставив горьковатый привкус разочарования и недоумения по поводу былого восторга.

Я волновалась напрасно, хотя впечатление было иным. Я открывала для себя что-то, что осталось вне поля моего чувствования, когда я книгу просто проглотила целиком, захлебнулась ею (к тому же она попала в руки на какой-то мизерный срок).

Сейчас я смаковала и пьянела от каких-то неожиданных фраз, едких и хлётких характеристик, ярких эпитетов, парадоксальных словосочетаний. Стала, скажем, хихикать как безумная прочтя: «беспомощное отвращение», произнося вслух и проецируя на ситуации, о которых никак иначе нельзя было сказать, но не сказалось, чёрт подери! Или –

«гибельный словесный сквозняк», тут же соотнесённый с популярным нынче словоблудом. Или, во фразе: «он был слеп, как Милтон, глух, как Бетховен и глуп... как бетон»! Это «глуп, как бетон» в сочетании со «святой ненаблюдательностью» – меня захлестнуло восторгом, шлейф которого ещё долго вызывал улыбку по вполне конкретным поводам.

Словом, я смаковала и упивалась набоковским «Даром», как гурман, дорвавшийся до когда-то случайно отведанного и впечатлившего блюда и теперь получивший возможность наслаждаться и ошеломляться им совсем по-новому, «с чувством, с толком, с расстановкой».

А одно из прошлых впечатлений от романа – чувство вселенской ностальгической тоски и боли, я ощутила так же сильно и остро как тысячу лет назад.

Отказываюсь от соблазна процитировать большой кусок прозы, тем более что без поэтических строк, рассыпанных по страницам романа, он не назывался бы «Дар».

(Набоков – о многоточии: «Это следы на цыпочках ушедших слов».)

За пустырьём, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит,
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
Что не запрёшь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.

Наташа Горбаневская

С Наташей знакомство произошло при довольно странных обстоятельствах.

За год до того, как начала учиться в Питере, приятель привёл меня к Андрею Вознесенскому в гости и вдруг, не сходя, что называется, с места, возвестил с усмешкой: «Андрюша, не хочешь послушать пару стишков?»

Тот недоумённо переспросил: «Стишков»? (Приятель поэтом не был).

- Стишков, - подтвердил он невозмутимо.

- Давай, - великодушно согласился Андрей.

- Давай, - повернулся в свою очередь ко мне приятель.

Я, опешив и разгневавшись:

- Что за шутки. Ничего я давать не буду!

Но тут уже заинтригованный Андрей произнёс великодушно, решив, что перед ним юное поэтическое дарование:

- Пожалуйста, право, не стоит сердиться, я охотно послушаю.

И тут уже вожжа мне под хвост попала, и я подряд прочла два или три его стиха.

Он, как сидел с открытым ртом, когда я читала, так и остался сидеть. Только очень побледнел. Потом я поняла, что вызвало у него шок. Я никогда не слышала, как он читает. И оказалось, что читаю не просто похоже, а совершенно так, как он.

Авантюризм, присущий ему, тут же включился на полную катушку, и он, обретя дар речи, сказал, что у него возникла блестящая идея: отныне, если я только захочу, он

будет брать меня на свои вечера, чтобы сначала читала я, а потом – он. Подробности переговоров и уговоров опускаю.

Так стал он таскать меня с собой по самым разным площадкам, от всяких Дворцов культуры до Курчатовского института.

И вот был его вечер в ЦДРИ, выступал лауреат Всесоюзного конкурса чтецов Андрей Гончаров, заслуженная артистка Валентина Попова, я и, конечно, сам Андрей.

По окончании стоим в фойе, в окружении Андрюшиных почитателей, подходит какой-то очень пожилой и, как мне помнится, сухопарый человек и щебечет: «Ну-ка, ну-ка, Андрюша, позвольте мне облобызать эту девочку...». И, прежде чем облобызать, представляется: «Кручёных».

То, что последовало дальше знаю из свидетельства присутствовавшей при этом подруги, ибо конфуз вышел изрядный, и я о нём благополучно забыла: «Как Кручёных? - говорю, - я думала вас давно уже нет в живых, умерли...».

Под радостный хохот окружающих лобызание состоялось, и вдруг, прямо в центре кружка оказалось крошечное создание, которое громко и грозно произносит: «Зачем вы – вы! Такая! – читаете ЭТО. Вы не должны. Вот возьмите». Сует мне в руки не то тетрадочку, не то скоросшивочку и довольно требовательно говорит: «Отойдёмте на минуточку».

И, что бы вы думали? Отхожу. И она представляется: «Наташа. Горбаневская. Это, - указывая на тетрадочку, - мои стихи. Пожалуйста, дайте мне ваш адрес». И я адрес даю. Ни секунды не усомнившись в том, следует ли. И так началось наше знакомство.

Пришла на следующий день в мою каморку на Плющихе. Узнав, что у меня есть пишущая машинка, начала таскать и свои, и чужие стихи. А потом и всякую нелегальщину, которую печатали на тонюсеньких листочках.

А когда я поступила в театральную, стала моей первой преданной зрительницей: приезжая в мае сдавать экзамены (училась на заочном), всегда приходила на мои занятия по мастерству. Познакомила с Леной Шварц. К моему восхищению позднее её стихами – тайно ревновала.

В течение всех сорока дней после её кончины искала книжечку с дарственной надписью «Жанне, с верой как в себя» и пока не нашла. Зато нашла другую, о которой за поисками забыла, подаренную уже в Нью-Йорке, через пару месяцев после прилёта нашего в Новый свет. И на ней: «Жанне, для новой программы».

С печалью думаю о том, что, может, затаила на меня Наташа обиду за то, что не только не осуществила выраженное в дарственной надписи пожелание, но и никаких намерений не обнаружила. И взахлёб рассказывала ей, какие бездны материалов стали здесь доступны, и что каждый день сижу в Русской библиотеке и переписываю от руки, сочиняя будущий Цветаевский спектакль. Не подозревая, что к этому времени Наташа отошла от былого восхищения Цветаевой.

Тут, я думаю, решительную роль сыграла Ахматова. К которой Наташа была вхожа и покровительством которой пользовалась.

Но совесть моя в отношении стихов Наташиных чиста: многие мне по душе, на многое отзываюсь, многие – дороги. Но чтение стихов, как таковое, так называемое профессиональное, никогда меня не интересовало. Просто не воображаю себя в этом качестве. Во всех случаях и с Цветаевой, и с Ахматовой, и с Бродским это что-то другое.

Стихи – часть спектакля, и произношу их совсем не по эстрадным законам.

А как же стихи Андрея? А это просто такое вот, страннейшее приключение юности. Перестала читать не потому, что уехала в Питер, а просто потому, что это время кончилось. И стихи любила совсем другие.

А вот дружба с Наташей продолжалась и после института, когда я вернулась в Москву. И когда в 67 году, накануне моей первой премьеры в театре Станиславского Наташа брала одно из первых моих интервью для журнала Юность, и позднее, уже после памятных событий 68 года...

И вот в Сочельник, через сорок дней после её ухода, я надеюсь, что, если и была обида, то она растаяла, а взамен пришли светлые, радостные мысли о былых временах и встрече с этой птичкой-невеличкой, до последних дней своих выпевавшей чистую мелодию своих стихов, и до последней минуты верившей в это сладкое слово СВОБОДА...

День рождения Наташи Горбаневской

И вот – ещё один день рождения близкого мне человека: 26 мая родилась Наталья Горбаневская (26 мая 1936, Москва – 29 ноября 2013, Париж). Поэт, правозащитница, инициатор и основательница первого выпуска самиздатского бюллетеня «Хроника текущих событий». Участница демонстрации 25 августа 1968 года против введения советских войск в Чехословакию, два года и два месяца отсидевшая в психушке тюремного типа. Думаю, что сегодня Наташа, так громко и строптиво, словно наперекор своему крошечному росту, жившая, была бы вполне-вполне счастлива, услышав, что в канун её юбилейной даты – 80-летия со дня рождения – освобождена Надежда Савченко.

Будем считать, что ты, такая бесстрашная и так последовательно соответствовавшая лозунгу «За вашу, и нашу свободу», получила сегодня подарок по праву.

С днём рождения, Горбаневская, с днём рождения птичка-невеличка, Наташенька!!!

Эта глиняная птичка –
это я и есть.
Есть у ангелов привычка –
песенку завести.

В ритме дождика и снега
песню затянуть,
а потом меня с разбега
об стену швырнуть.

Но цветастые осколки
– мусор, хлам и чад –
не смолкают и не смолкли,
и не замолчат.

Есть у ангелов привычка –
петь и перестать.

Но, непрочный, точно иней,
дышит дух в холодной глине,
Свищет – не устать.

Борис Рыжий

(8 сентября 1974 – 7 мая 2001)

Не знаю, как у вас, а у меня взаимоотношения с поэтами всякий раз складываются по-разному. В стихи однихходишь, как в студёное горное озеро, осторожно ступая, делая шаг за шагом, и, наконец, безоглядно бросаюсь в воду, заплывая всё дальше и дальше.

Стихи других заманивают как в тёмную дубраву и, чем дальше идёшь, тем больше встречаешь что-то неожиданное, загадочное, колдовское. С третьими у меня случается мгновенный бурный роман, порой переходящий в спокойные, ровные, уважительные, но уже лишённые страсти отношения.

Есть и потрясающие с первого мгновения так сильно, что не сразу и понимаешь, что именно сшибло тебя с ног, закружило и не отпускает. И только потом находишь этому имя. А есть, хоть и вызывающие восхищение, но обращаешься к ним не часто, похоже на посещение музея, в котором есть две-три на разрыв любимые картины, хотя другие тоже по-своему хороши.

Но случались несколько раз встречи, которые вызывают дрожь узнавания и безошибочного чувства родства, полного, без нужды называть, понимать, оценивать. Просто – впускаешь поэта всего, целиком, он становится непререкаемо нужным. Такое случилось у меня со стихами Бориса Рыжего. «Душа сказала это – он».

Никакие изъяны, промахи, шероховатости, никакое несовершенство не могут отменить или поколебать моей любви к его стихам. Которой всегда сопутствует острая боль сопереживания и горечь потери. Но в день его рождения – только радость от того, что Борис – был! Хоть и выпала ему такая нелёгкая доля и такой короткий век...

А стих решила не выбирать, а – что первое попало на глаза в моей собственной подборке...

...по горю, по снегу приходишь в прозрачной одежде —
скажи мне, Эвтерпа, кому диктовала ты прежде?
Сестрой милосердья вставала к чьему изголовью,
чей лоб целовала с последней, с прощальной любовью?
Чьё сердце, Богиня, держала в руках виновато,
кто умер, бессмертный, и чья дорогая вдова ты?
В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы —
грядую могильной вставали Уральские горы?

Рита Райт-Ковалёва

(знаменитая переводчица Генриха Бёлля, Франца Кафки, Джерома Сэлинджера, Уильяма Фолкнера, Курта Воннегута, Натали Саррот, Анны Франк, Эдгара По)

- Рыжая, ты как там? – раздался в телефонной трубке в один из выходных дней голос Германа Плисецкого, моего друга со времён театральной юности. Услышав, что я ничего себе, живу-поживаю, Герман перешёл к делу: «Устроишь нам пропуск на спектакль?» Я, честно говоря, немного растерялась: за пропусками старалась не обращаться в принципе, а с приходом в театр товарища из внутренних органов, как сразу его для себя определила, тем более.

Гэбушник – с гримасой говорила обожаемая мной Гешина жена Галя Сулова о подобных товарищах, произнося это БУ вместо привычного БЕ с совершенно неподражаемой интонацией отвращения. Когда речь заходила о Жарковском, интонация эта обретала зловещий оттенок: всем друзьям было ясно, что борьба с ним у меня будет не на жизнь, а на смерть, что на самом деле и случилось. Но удивилась и растерялась я ещё и потому, что спектакль был не премьерным, и Герман, присутствовавший при рождении «Медеи» ещё в мои студенческие годы в Питере, видел его уже пару раз и в театре Станиславского.

Не успела я раскрыть рот, чтобы задать вопрос – с чего это он решил посмотреть спектакль ещё раз, Герман уточнил: «На троих, Жак, уж прости меня!»

Ага, сообразила я, Герман ведёт на спектакль кого-то из своих.

- А кто с тобой, Геша?

- Ну, Галка, понятно, - деловито сообщил Герман, - а третий, уж прости – это сюрприз!

Учуяв в моём затянувшемся молчании возможность отрицательного ответа, Герман поспешно и как-то даже горячо добавил: «Не пожалеешь, клянусь!»

По выходе после спектакля я увидела слева от входа Германа и Галю и между ними крошечную женщину. Дюймовочка – подумала я про себя, а Герман, не дав мне раскрыть рта, торжественно, как если бы вручал давно желанную игрушку, возвестил: «Вот, Рита Яковлевна, познакомьтесь, это – Жак! Жанна, - поправился он. - И, склонившись в шутовском поклоне в мою сторону: Жанна Аркадьевна».

Дюймовочка, слегка надтреснутым и дребезжащим, но непередаваемо-ласковым голосом прошептала: «Очень приятно, спасибо вам, деточка!» Это «деточка» как-то закрепилось в её обращении ко мне во все дальнейшие годы знакомства, равно как и моё, про себя, дюймовочка, хотя и поняла, что в тот вечер небольшой её рост безусловно подчёркивался довольно-таки внушительным Геши и Гали.

На «спасибо» я что-то проямлила, а Галя и Герман, подхватив свою спутницу под руки, начали переходить улицу. Галина, на секунду отделившись от них, перебежала улицу обратно и выпалив «Райт-Ковалёва, усекла ты или нет?» И уточнила в ответ на мою отвисшую челюсть: «Да-да, та самая, балда ты эдакая!» - и, чмокнув в щёку, побежала догонять Германа и Риточку, как она её называла.

В узком кругу не только она, но и многие, в Бог весть какие риточкины годы, именно так её и называли. Галя же утверждала полусерьёзно, что ни один человек на свете не знает, сколько Риточке лет. «Даже Курт!» - со значением прибавляла она. Это его, Курта Воннегута книги подарила нам Рита Яковлевна, так и не попавшая в Америку, несмотря на его публичные выступления и статьи в газетах с взываниями к правительству СССР: «Пустите Риту в Америку!»

Сделав страшные глаза, она мне однажды сказала: «По-моему, у Риточки всё-таки был роман с Маяковским». И когда я усомнилась, она уточнила: «Ну, не роман. Интрижка».

Ну, что-то в этом роде» (для справки: Рита Яковлевна переводила Маяковского, при его жизни, на немецкий).

При неправдоподобной некрасивости Рита Яковлева была феноменально и столь же неправдоподобно обаятельна. А по части жизнерадостности, лёгкости на подъём и энергии могла дать фору любым двадцатилетним. Мне с ней было феноменально уютно и хорошо, но на все её призывы называть Ритой я отвечала упрямым «Не могу, Рита Яковлевна, никак не могу!» Убедил её однажды оставить всё как есть мой аргумент, что мне не хотелось бы называть её «как все».

«Ох, это «не как все, - шутливо согласилась, наконец, Рита Яковлевна. - Нелегко вам, деточка, придётся в этой жизни. Да ещё и театральной к тому же!»

Моё «как все» относилось правда, к общим знакомым Хинкису, Копелеву и Герману, связанным с ней профессией, то есть, в известной степени, равным. К нонконформизму это отношения не имело, но возражать она не стала. Тема была закрыта.

Виделись мы с Ритой Яковлевной не часто, как правило – у Германа с Галей, но между нами установились и наши собственные отношения, которые иначе как приятельскими я не могла бы назвать.

Иногда она объявлялась совершенно неожиданно. В одно из этих внезапных возникновений она проворковала в трубку: «Как, вы деточка, свободны завтра? - И, предупреждая ответ, - Мне на Таганку надо завтра идти утром, смотреть генеральную «Гамлета». Очень бы хотелось с вами».

О, чудо, я была свободна! До сих пор заливает теплом благодарности за то, что испытанному тогда потрясению Рита Яковлевна не помешала. Я не хотела подниматься, чтобы выйти из зала. Не хотелось вливаться в зрительский поток, и Риточка, сопереживая, сидела рядом и тихонечко поглаживала мою руку крошечной цепкой своей лапкой. И премьерный спектакль я увидела, кстати сказать, благодаря ей. Она призналась, что идти не очень хочет, что ей нездоровится, что не любит она театральный бомонд, но пригласил Юрий Петрович, обидеть не хочу, и вот, если с вами, деточка, то, пожалуй, и выберусь. И мне выпало счастье, благодаря Рите Яковлевне, стать свидетельницей Володиного триумфа.

Смешно звучит, но однажды у нас с ней случилась размолвка, почти ссора. Она знала мою цветаевскую болезнь. Знала, что я ею «занимаюсь», как сообщил ей Герман, и готовлю большую программу стихов. Однажды она позвонила сообщить, что идёт в гости к Ариадне, с которой дружна, и хочет, чтобы я пошла с ней. Что Ариадна предупреждена и ждёт. Я похолодела от этого сообщения и, вместо того чтобы соврать, что я слегка больна или ещё что-то, выпалила: «Рита Яковлевна, я не хочу!» Именно так и сказала – не хочу. Пауза была-таки шоковая, и Риточка своим дрожащим голосом, приправленным гневливой ноткой, переспросила: «Не хотите?»

- Не могу.

- Не можете или не хотите?

- Не могу, - уже понимая, что нужно уходить от объяснения, проямлила я. - И не хочу.

Что меня подтолкнуло во второй раз произнести это «не хочу», не знаю. Но слово было сказано, и Рита Яковлевна, явно опешившая, произнесла: «Как можно не хотеть?»

- По- глупости, Рита Яковлевна, наверное. Я не могу объяснить. Простите, пожалуйста. Не сердитесь!

- Прощать - не за что, - отрезала она, - А глупость имеет, похоже, место. Дайте знать, если одумаетесь, детка».

Я не одумалась, и Рита Яковлевна некоторое время дулась на меня (В скобках замечу, что мне-таки были суждены были несколько цветаевских встреч, и одна из них с Марининой сестрой, которую я, по ряду причин, в отличие от Ариадны, не слишком жаловала. Но это – совсем другой сюжет, довольно подробно рассказанный другом Германа, известным ученым, Виталием Григорьевичем Сыркиным, занимающимся по совместительству литературоведческой работой...)

А сейчас, возвращаясь к Рите Яковлевне. Возникший между нами холодок растопил один печальный театральный эпизод. Рита Яковлевна бывала на спектаклях с моим участием. На один из них она была приглашена всё тем же Германом. Спектакль был выездной, у Литературно-драматического театра ВТО, где я к тому времени работала, своего стационара не было. Играли мы в тот вечер на сцене театра Ромэн. Площадка как площадка, зал как зал, и всё бы ничего, но изрядное количество билетов было куплено каким-то ремесленным училищем.

«А существует ли любовь, спрашивают пожарные» - думаю, именно это название пьесы Радзинского подвигло тех, кто занимался там культпросветом малолетних оболтусов, устроить поход именно на этот спектакль. Спектакль я любила. Партнёром был Алёша. что тоже немало способствовало моему пристрастному отношению. Но главной причиной была сцена драматичного расставания с героем, мизансцену которой придумала я и очень ею гордилась. В тот вечер до неё ещё надо было дожить, а в зале между тем набирало силу буйство живших своей жизнью подростков. По ходу доносились какие-то странные звуки: ребяташки, сообщил мне уже после Герман, пускали по полу бутылки от пива.

Когда мы дошли до любовной сцены, которая игралась над основной площадкой, в мансарде героя, в зале начал нарастать гур-гур, среди комментариев я отчётливо услышала одобрительный выкрик: давай, мол, девушка, не робей, скидавай платье!

Герман рассказывал потом, что Галина вцепилась в этот кульминационный момент в его руку и начала шептать: «О Боже, только бы Жанка не начала раздеваться, только бы не начала»!

«Синяки остались, Жак, ей богу»!

Раздевания, как такового, кстати сказать, и не предполагалось. И вообще мы высвечивались силуэтами, но ребяташкам этого явно было мало. Пивка, думаю, они хлебнули как следует. Да и просто хотелось покурлесить. Самых буйных из зала повыводили, спектакль мы доиграли с удвоенной энергией и были вознаграждены горячим приёмом зрителей, подогретым, полагаю, несомненным к нам сочувствием.

Видеть, однако, ни Германа, ни Галю, ни особенно Риту Яковлевну мне после спектакля смертельно не хотелось. Но они поджидали нас, как в первый день нашего с ней знакомства. Помолчали. Галка крепко обняла, Герман, стиснув руку повыше локтя, проговорил сочувственно: «Жак». А Рита Яковлевна внимательно глянула прямо в глаза и изрекла: «Жанна д'Арк – и через паузу – адьевна (моё отчество).

- Адовна, скорее, - хмыкнула я. Но Рита Яковлевна шутить не хотела.

- Такой ад снести и выйти непобеждённой. Спасибо, детка! Мужественно».

В Рите Яковлевне вообще на редкость гармонично сочетались предельная доброжелательность, юмор и категоричность некоторых оценок. И – их лаконизм. Я помню, как меня однажды изумила её довольно странная реакция на рассказ о бурных

романах одной Гешинной приятельницы. Поведя плечиком, она изрекла: «Не знаю, не знаю. Мой муж в таких случаях всегда говорил: «Мы не дикари и не испанцы чтобы так фордыбачить». Эта фраза надолго засела в моей голове: я всё пыталась понять, не имели ли слова эти отношения к самой Рите Яковлевне, и пыталась себе представить, что за этим стояло, и как Риточка могла фордыбачить. Пришла к выводу, что – вполне могла.

Рита Яковлевна была одной из первых, узнавших о том, что мы решили покинуть страну. До сих пор дивлюсь тому, как бережно и целомудренно повели себе те немногие люди, которым была доверена эта тайна. Ну, во-первых, она осталась тайной. И, во-вторых, никто не бросился уговаривать нас, взывать к нашему разуму, называть наше решение безумием и т. д. Все понимали, что не неустрашенность и не какие-то профессиональные неурядицы были мотивами нашего решения. Тем более, что это был очень благополучный период в нашей театральной карьере. Рита Яковлевна, однако, попыталась вмешаться, выбрав окольный путь. Помню, я спросила однажды у Галки: «А что там Риточка, как она?»

- Скорбит. Очень скорбит, Жак, - произнесла Галина. И, тоже скорбно, подытожила, - Мы все скорбим.

Рита Яковлевна, однако, в своей скорби двинулась за подмогой ко Льву Копелеву. Судьба, конечно, страннейшие плетёт узоры: в это время известный диктор Голоса Америки Виктор Французов вместе со своей женой, приехал с визитом в Москву, и Лев решил, что это как раз то, что нужно, чтобы попытаться нас образумить: трезвая и спокойная информация о том, что нас ждёт.

А ничего хорошего, по словам Французова, пришедшего к нам «на завтрак» и изумлённого нашей квартирой, по советским стандартам роскошной, не ждало.

Он внушал нам, что в Америке придётся туго, что жизнь эмигранта чудовищна, что наша театральная карьера будет кончена, что ничего осуществить мы не сможем. И, чем больше мне рассказывали, как будет плохо, тем больше я готова была это «плохо» принять. У нас не было планов, связанных с театром. Я понимала, что этот период жизни кончен. У японцев есть поверье, что, достигнув зрелости – в среднем у человека это происходит к сорока годам – он должен, оглянувшись назад, пересмотреть прошлое и вступить в новую жизнь. Знал ли Французов, да и я, что нам придётся встретиться снова, и не где-нибудь, а в Америке. И не только встретиться, но и стать коллегами на этом самом Голосе Америки.

Так или иначе, когда Рита Яковлевна спросила меня, очень осторожно: «Ну, что Французов»? Я, ничтоже сумняшеся, сказала: «Очень скользкий тип»!

Мнения этого держусь и по сей день. На Голосе сделал вид, что видит меня впервые, и что не рассказывал в Москве о том, как горька жизнь без родины.

Когда видела Риту Яковлевну в последний раз – совсем незадолго до отлёта, она сказала: «Надеюсь, детка, всё будет хорошо. Главное, оставайтесь собой»!

О лучшем напутствии я и мечтать не могла. Надеюсь, я выполнила ваш наказ, Рита Яковлевна. Спасибо вам...

Сент-Экзюпери

«Чем я больше узнаю людей, тем мне больше нравятся собаки». Антуан де Сент-Экзюпери.

Фраза эта, произнесённая человеком, который, сам того не ведая, много лет назад, сделал мне один из самых драгоценных подарков в моей жизни, когда-то меня глубоко задела, потому что была произнесена именно им.

Что должно было случиться в его жизни, или чему он должен был стать свидетелем, чтобы произнести эти горькие слова? Он, мужественный человек с нежным, полным любви сердцем?

Эту тайну он унёс с собой, как и тайну своей гибели. Ушёл, подарив гениальную сказку-притчу. И – кто ведаёт, может быть, он смотрит сейчас на нас на всех откуда-то с дальней звезды – на нас, всё ещё не научившихся быть в ответе за всех, кого мы приручили. Смотрит и надеется.

Сара Погреб

Нет для меня драгоценней минут, когда открываешь ещё одно, прежде неизвестное имя, и испытываешь ни с чем не сравнимый толчок под сердцем: это – настоящее, это поэзия!

Вот так случилось со мной, когда почтальон вручил мне небольшую бандероль из Израиля от чудесного человека с нежным именем Нелли, и в ней, помимо двух томиков стихов Лены Шварц, любви к которой неоднократно признавалась и как-то посетовала на то, что не все книги сумела раздобыть, была ещё изящная небольшая книжица стихов «Рассвет и сумерки». Имя автора – Сары Погреб никогда не слыхала.

Всякий раз с тех пор, когда читаю эти стихи, думаю: это ж надо, какое счастье, могла ведь и не узнать!

Признаюсь, что иногда одна из книжек, тех, что на полке у меня в изголовье, оказывается в моих руках случайно: то есть попросту при неосторожном движении сваливается на подушку, а иногда и на голову, в самом-таки прямом смысле слова. Порой устраиваю тогда гаданье на стихах, типа: третья строчка, во втором четверостишии – что день грядущий мне готовит?

В последнее время, правда, веду себя с этим поосторожнее. Просто, раз книжка оказалась в руках, открываю и прочту стишок-другой. Иногда такие «случайности» оказываются как нельзя подстать душевному настрою.

К чему я? Да вот к этому... Вчера, в полнолуние...

Я на острове живу,
Омываемом тоскою,
Как на лодочке плыву
Над пучиною морскою.
Без руля и без ветрил,
Весла вынув из уключин,
А недавно вышел случай –
Дождь со мной заговорил.
Я других даров не жду,
Не протягиваю руку.
Написали на роду
Терпеливости науку.

Саша Годунов

Страннейший месяц май в моей жизни: многие друзья и близкие родились в этом месяце. Другие в мае – уходили. Вот и Саша ушёл жарким майским калифорнийским днём, оставшись в памяти тех, кто его знал, и кому посчастливилось видеть его на сцене во вдохновенном и дерзновенном полёте.

Я запомнила его именно таким: взлетающим над подмостками и на секунду застывающим в воздухе, словно размышляющим, возвращаться ли на землю. Он и признавался, что именно этот момент – самое для него дорогое в танце.

Совсем-совсем не похожий на своих балетных сверстников, да и вообще непохожий, другой, инакий.

Я видела его и не раз, и в танцклассе, куда затаскивал меня, когда у меня самой не было репетиции, и на сцене. Не хочу сейчас отвлекаться на бытовые детали нашего общения. Скажу только, что другом он был преданным и самоотверженным. И тоже – «непохожим», будто из другого столетия.

А на сцене увидела первый раз в зале Чайковского: была премьера «Мимолётностей» Прокофьева в постановке Голейзовского. Алёше, который был занят в этот вечер, переела плешь рассказом о том, *что* это было. Потрясённая увиденным моя мама и говорить не могла – только покачивала головой изумлённо, словно не могла поверить, что мы видели это чудо.

А это было именно чудо, совершенное, неземное чудо. Даже когда потом, уже в Большом, Саша танцевал с Майей Плисецкой – а она всегда, меня во всяком случае, потрясала – потрясал не меньше неё. Так и остался он в памяти – летящим. Взлетевшим и – не вернувшимся. И оставшимся навсегда молодым.

Дело даже не в его немыслимой фактуре, особой стати, всём его облике героя-викинга из каких-то древних скандинавских сказаний. Было что-то в нём не вписывающееся в бытовую ряд нашего тогдашнего существования, какая-то отметина, тайный знак принадлежности к иной, нездешней расе. И – рыцарственность. Даже не джентльменство, именно рыцарственность.

Был он рыцарственен и хулиганист в одно и тоже время. Но в данном случае речь именно о его джентльменстве: даже из самых заурядных наездов в Ригу привозил какие-то немыслимые дары. Так впервые увидела огромную свечу, чуть ли в полметра и треугольной формы загадочного цвета, который Саша назвал «английским красным», приглушённым, то есть.

А вот из одной своих первых гастрольных поездок пришёл с трофеем днём в театр. (до сих пор есть разночтения – откуда. Алёша говорит, из Франции, я почему-то убеждена – из Германии.) Это было в пору его работы в Моисеевском «Молодом балете», так кажется. а моей – в театре Станиславского.

Вручает нечто картонно-трубное, довольно увесистое.

- Что это? - спрашиваю.

- Открой, - говорит, с таким загадочным блеском в глазах.

Снимаю крышечку, внутри что-то свёрнутое в трубочку. Достаяю и ахаю. А он лыбится, как довольная псина, угодившая хозяину.

Вот, думаю теперь, какое это счастье, что он позвонил домой – Алёша сказал ему: Жанна на репетиции, и он пришёл в театр. А счастье, потому что увидел картинку наш бутафор, великий мастер на все руки, кудесник просто. «Жанна, дайте мне эту штуку, - говорит, - я вам сделаю из неё картину. А так ведь пропадёт скоро».

И сделал: накатал на довольно-таки тяжёлую доску, как-то там залачил, не знаю, в общем, что сделал. Но когда повесила – «покупались» практически все: думали по первопутку, что копия, а не репродукция.

Увезти с собой не удалось, увезти ничего не давали. А вот когда приехала в Москву устраивать дела на кладбище, чтобы ухаживали за маминной могилкой, увидела во время одного из визитов в один дом свою деву стоящей на полу. Оскорбилась. Во-первых, поэтому, а, во-вторых, что не потрудились передать нам, хотя такие возможности были. Взяла в руки и, так и просидев с ней на руках, произнесла уходя: «Могли бы передать, вообще-то, с оказией. Ну, ничего, лучше поздно, чем никогда. Уношу и увожу!»

Теперь в очень хорошей раме висит в гостиной и, в зависимости от освещения, меняет выражение лица. Почти разговаривает.

В ответ на мой рассказ в ФБ отозвались: «Жанна, спасибо вам за доверие, за ваш потрясающий рассказ. За ваше фантастическое отношение к людям. За вашу чуткость».

Не знаю, почему доверие? Надеюсь, не решили, что за словом «дружба» закодировано нечто иное... Нет, мы были «корешами» в самом прекрасном смысле этого слова, и в самом целомудренном – поклонниками друг друга.

Я потрясалась Сашей, он – уж не знаю, потрясался ли, но предан был до упора.

Когда случился глобального масштаба конфликт с директором-стукачом, и я покинула театр, он в ночи сдирал с фасада здания, со стенда, мои фотографии – благо дело, роста был изрядного и ловкости необыкновенной.

Сейчас вот пишу, улыбаясь, а на Голосе – такой ужас... Подошли ко мне: «Жан, нужно срочно написать некролог».

- Кто, - спрашиваю.

- Александр, - говорят, - Годунов.

И вот сидела, рыдала и писала. А потом ещё и в эфир с этим надо было выходить.

Всё перепотрошили с Алёшей – нет у нас записи. Жаль. Знаю, что сумела сказать.

Здесь с Сашей виделись в Нью-Йорке, собирались делать с ним сцены из Бесов.

Боже, какой бы был Ставрогин. Исчез почти внезапно, после печально известной истории, когда ему не нашлось место в труппе, возглавляемой Барышниковым...

Судьба... Но что-то в этой судьбе есть охранительное в отношении его индивидуальности: надо было, наверное, остаться ему таким вот «викингом», высоким и – молодым. Хотя, наверное, так думать жестоко.

Евгений Шифферс

Женю увидела впервые, когда поступала в театральный: он величаво расхаживал, вернее – проплывал сквозь толпу абитуриентов, сгрудившихся перед роковой дверью, за которой восседала приёмная комиссия. Не поворачивая головы, он успевал, однако, оценивающе метнуть взгляд то на одного, то на другого.

Помню совершенный ожог от его остановившегося на мне взгляда бездонных глаз. Оценивающий взгляд, который я, не сморгнув, выдержала. А он – поверх моей рыжей шевелюры, произнёс слегка удивлённо: «Огневито».

Он уже был на излёте, то есть окончил режиссёрский, а мы поступали. Иногда он по какой-то причине возникал в общежитии на Васильевском острове: то ли высматривал соратников для своих будущих постановок, то ли заглядывал по старой памяти на какие-то посиделки.

А в институте видела всякий раз, когда была задействована у ребят-режиссёров: я была девушкой востребованной, играла не только на Товстоноговском. На третьем курсе меня стали занимать в спектаклях БДТ, и помню, как он при мне произнёс ласковым голосом убийственную фразу, прямо, не сморгнув, в лицо режиссёру «Ста четырёх страниц про любовь», выпускавшему спектакль вместе с Товстоноговым: «Юра, г-но нужно есть быстро». И удалился.

Эта убийственная непререкаемость оценок слегка высокомерного тона и напускная недостигаемость с годами совсем исчезла, уступая место сосредоточенной углублённости и предельной доброжелательности.

Очень хорошо помню первый показ его «Антигоны» в Доме актёра в Питере. Спектакль наделал много шума, и Шифферс уже был человеком с именем. А потом, уже в Москве, так случилось, что, будучи бездомной, пару месяцев жила в их с актрисой Ларисой Данилиной, замечательно красивой женщиной, комнате в коммуналке, почему-то обклеенной старыми газетами.

Запомнила, что, придя за кулисы после премьеры «Медии» Ануйя, он, то ли насмешливо, то ли нежно, то ли и то, и другое, произнёс: «Ну, ну, не робей. Загрызут тебя. Но ты держись».

Каждый раз, когда случалось увидеться, поражалась переменам. От заносчивости и высокомерия не осталось и следа, менялся весь облик: лицо, всё такое же красивое, становилось сосредоточеннее и печальнее. Такое впечатление, что он весь, мало-помалу, уходил внутрь.

А потом у меня начались серьёзные бои с властями и не менее серьёзные неприятности, запрет работать в Москве, работа в Куйбышеве, потом возвращение и как бы новый виток жизни в театре, новый подъём что ли. Но я уже неуклонно шла к решению об отъезде, и даже очевидные успехи уже не могли сыграть роли в принятии решения.

И уже, здесь в Америке, я узнавала о Женином пути, его мытарствах, его прозрениях, его книгах, и потом – о его кончине.

Передачу, которую я посвятила ему, я, в сущности, делала на Голосе подпольно. То есть, пару ночей не уезжала домой допоздна, а потом приезжала чуть свет, сидела в студии, звонила в Москву и Париж, брала интервью, монтировала интервью, искала музыку, писала текст и по завершении предъявила начальству, что называется, де факто.

Никто о Шифферсе не имел ни малейшего понятия, а я пустила вход все возможные и невозможные доводы и сумела внушить, как важно о нём рассказать живущим в Союзе.

Была счастлива, что передачу услышали Лариса, Женина жена, и его дочери, и его друзья-художники, и актёры, работавшие с ним, в Москве и Ленинграде. Сейчас имя Шифферса возвращается в Россию. Я рада, что внесла в это возвращение посильную лепту.

Саша Сумеркин (ФБ)

(В день рождения Александра Сумеркина).

«Второго ноября, воскликнув: «Voilà»...

Я лично обязана Саше Сумеркину настоящим «рукотворным» счастьем: почти сразу же по приезде в Нью-Йорк в 1981 году я стала обладательницей пятитомника «Стихов и поэм» Цветаевой. А вслед за этим и двухтомника прозы. Всякий раз, когда держу в руках эти книги, а держу их часто, равно как и «Пейзаж с наводнением» Бродского, думаю о нём с огромной благодарностью.

Александр Сумеркин (2 ноября 1943, Москва – 14 декабря 2006, Нью-Йорк). Русско-американский переводчик, редактор, великий подвижник и подлинный знаток и ценитель изящной словесности. «Академия наук в единственном числе» – говорили о нём, называя в эмигрантских кругах «наш Жан Женэ».

Он был составителем и редактором пятитомника Цветаевой, вышедшего в 1980 году в Нью-Йоркском издательстве Russica с потрясающим предисловием-эссе Иосифа Бродского «Об одном стихотворении» («Новогоднее»).

Он же был составителем двухтомника прозы Цветаевой.

С начала 1990-х годов Сумеркин был литературным секретарём Иосифа Бродского и переводчиком его эссеистики. И он же был составителем последнего американского сборника стихов Бродского «Пейзаж с наводнением».

Последнее из включённых в сборник стихотворений «Август» Саша получил 21 января 1996 года. За неделю до смерти Иосифа.

Одним из последних его проектов было составление книги стихов И. Бродского «на случай». Одно из таких стихотворений Бродский посвятил и ему:

По осени одни
ведут подсчет цыплят.
Другие ищут гвоздь,
чтоб подсушить сырое.
Все прочие скулят
или грибы солят.
Откроешь календарь –
В нем – ноября второе.
Чем данное число пленяет
праздный зрак?
Не тем ли этот день
приятен человечку,
что он есть тайный знак,
что наш всеобщий враг
способен, Хаос, дать
внезапную осечку.
Второго ноября, воскликнув «Voilà»,
в наш злополучный мир
с пластинками подмышкой
явился Александр, озимые поля
напоминая нам небритостью
и стрижкой.

(В ответ на реакцию в ФБ).

Двуязычное издание под названием Цветаева Фото-биография. Tsvetaeva. A pictorial biography. Издательство Ардис. Редактор Элендея Проффер, Вступление Карла Проффера. Переводы Дж. Марин Кинга. 1980 год.

Надеюсь, вы знаете, что Карл и его жена Элендея – это те самые люди, которым мы обязаны и изданиями книг Бродского, и вообще деятельным и плодотворным участием в его судьбе.

Так вот, не говоря уже о том, что это – совершенно потрясающий альбом (в него вошли, помимо фотографий Марины и её близких, фотографии и литературного окружения Цветаевой), составлен он на основе – сядьте, если стоите, потому что это удивительное совпадение и ответ на ваш вопрос – альбом составлен на основе фотографий из коллекции Михаила Абрамовича Балцвиника (1931-1980). Вышел он не в Париже, а в Энн Арбор, где и помещалось издательство Ардис.

И – уже из личных подробностей. Фотография Марины, вынесенная на обложку альбома, стоит и на нашем видеодиске с записью спектакля, приуроченного к семидесятой годовщине гибели Марины.

Ещё одно спасибо Саше Сумеркину: не напиши я о его дне рождения, вы бы не написали о вашем друге, не спросили, а я бы не узнала, что у нас есть ещё одна «точка родства».

Стало быть – ещё раз: с Днём рождения, Саша.

В. Высоцкий. «Там вдали». В. Шукшин.

В нынешней дате – радость, как ни странно это звучит. Радость, что Высоцкий у всех нас, живших в его время – был, радость и в том, что был – в моей!

Встречались мы с ним совсем немного: Алёша дружил с Севой Абдуловым, большим другом Высоцкого, мы бывали у Севы, видели Володю с Мариной, видели, как счастливы они были, как всё вокруг озарялось и согревалось лучами их любви.

Но говорю я о другом, самом главном своём достоянии: привилегии петь Володины песни при его жизни! Сразу же оговорюсь: никогда бы не только не решилась их петь от своего имени, исполнять, то есть, ни тогда, когда он был жив, ни тогда, когда Володи не стало. Для меня они навсегда остались принадлежащими только ему, никого другого в них не вижу и не слышу, хотя и не оспариваю права тех, кто петь их осмеливается.

Песни Высоцкого я пела в спектакле «Там, вдали» по повести Шукшина, точнее, пела их героиня спектакля, Ольга. В спектакль они вошли почти случайно, хотя случайность эта – из разряда «подарок судьбы».

Это была наша вторая после «Писем к Незнакомке» работа в Литературно-драматическом театре ВТО, который возглавляла Катя Еланская

В инсценировке было две сцены, где Ольгу просят что-нибудь спеть. В связи с песнями Окуджавы, предложенными Катей, я очень мучилась: по моему глубокому убеждению, они никак не вязались ни с характером героини, ни со всей фактурой

шукшинской повести. Но мучилась я молча и только откладывала под разными предлогами репетиции песен на попозже: мне нечего было предложить взамен.

И вот однажды, в жаркий летний день, на выходе из станции метро Краснопресненская я услышала голос Высоцкого: «И дожить не успел, мне допеть не успеть» – неслось из магнитофона, водружённого на лоток каким-то предприимчивым парнем, чем-то торговавшим. Песни этой я не слыхала прежде, её рвущаяся из нутра мольба «Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее...» буквально пригвоздила меня к месту, это был просто знак свыше – спектаклю нужны Володины песни!

На следующий день я пришла на репетицию и сказала: Катя, кажется, знаю, что за песни должна петь Ольга. Я пока не могу показать какие, дай мне пару денёчков, ладно?

Эти пару дней мы с Алёшей переслушали наши собственные записи Володиных песен, а Сева Абдулов, в ответ на наш вопрос, нет ли у Володи песни, которую мы не знаем, и которая могла бы стать финалом спектакля, сказал, что такая песня есть.

Сомневалась ли я в том, смогу ли их спеть? Не знаю. Думаю, восприняла услышанную на улице песню, как знак и указание и думала, в основном, о том, чтобы получить согласие Кати.

Первой мы показали ей «Коней». Песня явно произвела на Катю впечатление, но она справедливо возразила, что для сцены гулянки она никак не годится. И тогда мы включили Цыганочку. «Это – другое дело, - обрадовалась Катя, - Но Кони! Причём здесь Кони?»

Я начала излагать ей пришедшую мне идею, на первый взгляд смурную. «Что, если «Кони» станут зачином спектакля, его лейтмотивом? С них можно начинать и заканчивать первый акт, начинать второй, а в конце...» - «Подожди, Жанна, - оторопела Катя, - зачем так много? Всё кони да кони!» Я этого возражения ожидала и успокоила Катю, сказав, что речь идёт не о песне целиком, что мы разобьём её на три части.

«С Цыганочкой ты согласна, - продолжала я, - А ещё могут прозвучать «Здесь лапы у елей» – в деревенских сценах; «Я несла свою беду» – как откровенный песенный монолог, по куплету в двух разных местах; «В жёлтой жаркой Африке» – в ответ на просьбу родичей в деревне спеть что-то, как шуточная иллюстрация взаимоотношений Петра и Ольги и отношения к ним родственников. А в конце должен петь Пётр: «Но вот исчезла дрожь в руках. Теперь – наверх» (вот эту песню и подарил нам Сева Абдулов). Послушай, Катя, просто послушай. Не согласишься – значит, так тому и быть!»

И мы включили магнитофон опять. Пауза, после того как песни отзвучали, была долгой. Но я видела, что у Кати уже всю зарботала мысль, что она прикидывает, осуществимо ли предложенное нами. Сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что готовность воспринимать чужие идеи, какими бы странными они ни были, это качество было одним из самых прекрасных Катиных достоинств. У неё не было комплексов, которыми страдают порой режиссёры во взаимоотношениях с актёрами, она была человеком открытым, а в данном случае ещё и хозяйкой положения: автором инсценировки и режиссёром спектакля.

Идея была принята, определилась структура спектакля: на сцене, вместе с музыкантами, присутствовали все актёры, занятые в спектакле, свидетели происходящего и его участники. Действие нанизывалось на песни – зонги, словно этого только спектакль и ждал: они стали его пружиной, повествование разворачивалось стремительно, а в ту секунду, когда вроде бы останавливалось песней, на самом деле выходило на новый виток, обретало дополнительную глубину, смысл, перспективу, драматизм.

Всего в спектакле было шесть песен, Высоцкий, в сущности, стал его со-автором, а на афише – официальной афише! – стояло: Музыка и текст песен Владимира Высоцкого.

Премьеру «Там, вдали» мы сыграли сорок лет назад, в 1976 году и играли вплоть до нашего с Алёшей отъезда из страны, 22 марта 1981 года. Последний раз играли в Тольятти в феврале.

Боже, как я любила этот спектакль, и что за приём он встречал! Всюду: и в Москве, и в Ленинграде, в средней полосе России, на Урале, в Украине, в Сибири и в Прибалтике.

Как правило, нас долго после спектакля не отпускали зрители, и когда приём был особенно горячим, Алёша пел не проходившую цензуру песню на смерть Шукшина: «Ещё ни холодов, ни льдин». Театральный сезон 80-81 года, когда Володи уже не было в живых, открывался выездным спектаклем Литературно-драматического театра ВТО на сцене Дома железнодорожников, на Комсомольской площади у трёх вокзалов. Атмосфера в зале и на сцене была наэлектризованной, ещё была жива боль утраты. Нас долго не отпускали со сцены. Алёша спел «На смерть Шукшина».

С нашими гитаристами мы выучили, решив ничего никому не говорить, Володину «Он не вышел ни званием, ни ростом». Я вышла на сцену после Алёши и только сказала: «А это – памяти Владимира... «Высоцкого» договорить не успела, весь зал встал. Спела: «Он по жизни шагал... по канату, натянутому, как нерв». Была убеждена, что если не всех, то меня точно ждёт скандал. За кулисами меня поймал директор театра Галилов, человек не из сентиментальной породы. Вижу – заплаканное лицо. Сгрёб меня в охапку: «Спасибо, говорит ребята, спасибо! Великий был человек! Меня же летом не было в Москве, не сумел проститься. Вот, простился с ним сейчас. Спасибо, Жанна Аркадьевна, спасибо!»

Я была на похоронах Володи, простилась с ним, пожалала и поцеловала спокойно сложенные на груди его натруженные руки, отыгравшие своё. В этот день, в сентябре, я простилась с Высоцким ещё раз его песней, песней – о нём, шагавшим всю жизнь по канату, натянутому как нерв, всем нам, в несвободной стране, преподавшим своей трагической жизнью урок независимости и свободы.

О Высоцком во французском интервью.

Было у меня однажды интервью на Французском радио в связи с тем, что в одном из магазинов в Париже продавался наш с Алёшей двойной компакт диск «В вечерний час» (романсы и цыганские песни). И вот пристала ко мне с ножом к горлу интервьюер (R.I.P): «А почему вы не поёте сейчас Высоцкого, ведь вы же пели в спектакле, в огромных залах...» и т.д. И опять, и опять, и опять.

Я ей: «Пела героиня, это были монологи-цитаты песен. Я бы – не стала». А она опять и опять: «Ну, вот другие же поют...»

Мне потом одна парижская приятельница сказала: «Ну, ты и терпеливая, Жанка, я бы сто раз послала уже».

«Жизнь научила», - говорю, Арина.

А сейчас думаю: даже если бы убеждена была, что не испорчу песни, всё равно как репертуарную не стала бы. И вот слышу, когда его поют либо с приклатнённой лихостью – сюжетные песни, либо, «загружая» переживаниями, как бы осознавая, как песня серьёзна, и какой трепет вызывает у исполнителя и всё такое прочее, – прихожу в ужас.

«Сопли в меду» – называл один режиссёр, с которым работала, такие варианты.

Думаю: Боже, как хорошо устоять от искуса, и как была права. Не исключено, впрочем, что где-то когда-то появится кто-то Высоцкому конгениальный... А пока вот счастье, что песни его есть в оригинале. Спасибо всем, кто нашёл время прочесть рассказ о Володе и нашёл добрые слова о нём. Просто не могу ответить каждому, такой сегодня день, выпала из строя, но каждого благодарю от всей души. Володя жив любовью всех, кто слушает его песни!

Голос Америки

9 сентября 2001 года

В этот трижды проклятый день, тринадцать лет назад, я не работала. Отсыпалась после ночной смены. Произнесла накануне: «Ребята – обращаясь к дочке и Алёше – будить меня, как говаривал Наполеон, только в случае дурных вестей. Знала бы я, что нас всех ждёт в этот чёрный день...

И вот поутру на телефонный звонок внизу, хоть и услышанный сквозь сон (мой телефон наверху, у постели был отключён) решила не реагировать: «Да хоть Президент, - сказала себе, - не подниму трубку и всё». И тут слышу Настенькин голос: «Мама, мама, пожалуйста, проснись, мама, включи телевизор!» И опять: «Мама, мама!» – и уже крик. Я вскакиваю, включаю и вижу то, что в эти дни видел весь мир: через пару секунд начинает оседать вторая Башня...

Алёша подъезжал в это время к Голосу и, ещё не пересечя мост, отделяющий Вирджинию от Вашингтона, увидел слева, над Пентагоном, клубы дыма – несколько минут назад в него врезался третий самолёт. Помню, потом говорил: «Я подумал – бумаги, что ли, старые жгут...» Через пару минут, войдя на Голос, он уже был не просто в курсе: нужно было выходить с этими страшными вестями в эфир.

Я не могу утверждать, что ПОМНЮ тот день. То есть, что помню себя. Я словно окаменела, что ли. Ничего другого на всех каналах не было, ужас длился и длился, и, наверное, сработало подсознание: понимала, что нужно было держать себя в руках, завтра нужно было работать.

Несколько раз выпадало мне выходить в эфир с ужасными новостями и репортажами. Самое тяжёлое для меня: не сорваться в эфире, умудриться не зарыдать. Помню, что даже спустя изрядное время говорить об этом в эфире было немыслимо трудно. А в те дни этим страшным кошмаром окрашено было всё и, как всегда в таких случаях (о себе говорю), для естественных реакций просто не было места. Всё: крик, слёзы, вопль – всё было загнано внутрь, и много, много дней прошло, пока меня, наконец, прорвало: рыдая, варила суп; рыдая, сидела за рулём; нечаянно, сидя за рулём и увидев Пентагон, начинала дрожать мелкой дрожью; прежде, чем сесть писать очередную программу, бежала в туалет и отрыдав, ополаскивала лицо холодной водой. Конечно, всё потихоньку улеглось, и жизнь стала входить в обычную, вроде, колею. Но что-то в ней уже никогда не было прежним: не стало любимых Близнецов. Их гибель открыла чёрную и страшную страницу первого десятилетия XXI столетия...

Н. Коржавин и Н. Мандельштам

По поводу замечания Коржавина, о несправедливости многих замечаний Надежды Яковлевны во втором томе.

Думаю, эти «несправедливые» с его точки зрения замечания в адрес многих писателей, сейчас очень и очень важны, и нужны. На Голосе работал замечательный человек по имени Алик Батчан (светлая память, Алик. Царствие Небесное!) Очень я его любила. Он отвечал мне взаимностью.

Когда я сочинила часовую программу «Радиожурнал» он, будучи корреспондентом нашим в Москве, делал для неё специальные репортажи и рассказал такую историю (это было как раз, когда шли чтения Второй книги.

Шёл какой-то съезд или совещание писательское, чёрт знает, не помню. Дело было в Грузии. И вот к нему буквально вереницами подходили почтенные члены Союза писателей и, беря за грудки, вопрошали: «Зачем она это делает, зачем читает Вторую книгу? Ведь это было так здорово, «Воспоминания» когда читала. А теперь вот эту клевету на ТАКИХ людей... Скажите редактору, пусть хотя бы пропускает эти наветы».

А Алик в ответ: «Она сама редактирует книгу для чтения».

«Ну, ей скажите».

«А ты, спрашиваю, Алик, что им сказал?»

«А я сказал: она очень хорошо знает, что и зачем читает».

Так и осталась я соучастницей этих «несправедливостей». Чем ужасно горжусь.

Правда, справедливости ради, должна сказать, что далеко не все так воспринимали эти главы. Помню, однажды позвонил мне писатель и переводчик Асар Эппель, с которым в Москве познакомились у нашего ближайшего с Алёшей друга Германа Плисецкого. Звонил из Филадельфии, благодарил за «чтения» и говорил, среди прочего, и о том, что касалось вышеупомянутых глав. «Молодцы, что прозвучало это в эфире. Очень нужные это главы».

Я вот тоже так думала. И сейчас думаю. Правда, надежды на то, что это сейчас услышит кто-то – не слишком много.

«Модиглиани» (Sic!)

12 июля – день рождения одного из самых мной нежно любимых художников Амедео Модильяни.

У нас в доме есть две купленные на выставке репродукции его работ. Их нам в одной мастерской закатали на картон, обрамили и они по очереди водружаются на стену в большой комнате внизу: иногда его чудесное «Ню», иногда – «Портрет девушки в чёрном». И ещё в простенке между комнатами наверху висит маленькая репродукция – портрет Жанны, мимо которого проходим по сто раз на дню. Так что именинник присутствует в нашем доме весьма зримо и ощутимо.

А в моей жизни на Голосе Америки Модильяни косвенно сыграл очень важную роль. Был в ту пору среди студийных инженеров-американцев один, неизменно шумно восклицавший, когда я входила в студию, либо записывать одну из своих программ, либо в качестве ведущей очередного шоу, причём – с каким-то детским восторгом: «О, моя Модиглиани, привет, как я рад, как ты, как дела!»

Признаюсь, когда я услышала это «Модиглиани» в первый раз, то не сразу поняла, что речь идёт о Модильяни, а уж когда сообразила, поинтересовалась: «При чём здесь Модиглиани, Джимми?»

- Модиглиани, именно Модиглиани, люблю его и тебя, ты – мой любимый русский бродкастер. Люблю тебя слушать (русского не знал), люблю записывать.

Можно было предположить, что с годами эти шумные восклицания «Модиглиани, моя Модиаглини», поутратят былую горячность, но не тут-то было!

Однажды я решила расспросить, что он находит общего у меня с картинами Модigliани. «Рыжая, - стал он загибать пальцы, начиная с большого, - Жанна – два, грустная – три...»

- И? - улыбнулась я.

- И голос, - подытожил он.

Рассмешил меня очень. Да он и сам рассмеялся и добавил:

- Просто Модigliани. Точка.

И вот его некоторое ко мне пристрастное отношение сыграло решающую роль в тот момент, когда я, после очень серьёзной автомобильной катастрофы, два месяца, разбитая на множество кусков, пролежав в полной неподвижности, поняла, что эта авария – знак, что, если я хочу осуществить один из замыслов (сочиняла сценарий ахматовского спектакля) и вообще – вернуться, пока есть ещё какой-то «вид», на сцену, с Голоса, работа на котором перестала быть интересной и стала просто «службой», нужно уходить.

На работу после аварии я вернулась месяца через четыре, когда начала потихоньку ходить. За это время, лёжа в койке, выучила Рождественские стихи Бродского, собрала для них музыку, записала в нашей студии внизу, когда сумела туда спуститься, диск, и, вдохновлённая результатом, внутренне произнесла: время!

О решении уйти знало несколько моих продюсеров, и именно они убедили меня перевести на диски все мои программы. Джаз, кино, путешествия, мюзиклы, вообще всё, что уцелело. День за днём стали они носить тяжеленные плёночные бобины сначала к любителю Модильяни, а потом и к другим инженерам, и они, не без его участия, «строгали» диски, один за другим и даже делали для них обложки.

А уж потом попали они на Старое радио, к его хозяину, великому энтузиасту Юрию Метёлкину. Более 250 программ.

Так что, если бы не любовь к Модильяни инженера звукозаписи и не раздался бы в нашем доме звонок Юрия буквально за два дня до того, как мы собрались коробки с дисками выставить на улицу, и не убедил он нас, что мы совершим варварский поступок – пиши пропало!

А Модильяниевский фрагмент – довольно большой: воспоминания Ахматовой о нём и стихи, навеянные встречей с великим итальянцем – вошёл во второй акт спектакля «В то время я гостила на земле. Анна Ахматова. Жизнь и судьба».

Чувствую, что как-то я слишком разговорилась, время – уже к часу ночи. Но зато вспомнила хороших людей, которым благодарна по сей день, за то, что они – были и есть!

И что жизнь моя порой посылала мне встречи с ними.

И теперь уже – С Днём Рождения, Модigliани, Моди, Амедео.

Старое Радио (ФБ)

(11 октября, 2014)

Увидела сообщение Старого Радио.

Собственно, это был ответ на сетования какого-то слушателя, что вот, мол, нет у вас ничего о Голосе Америки. На что основатель и хозяин этого Радио отвечал, что ошибаетесь, есть – спасибо Алексею Ковалёву и Жанне Владимирской – более 250 программ. Подпрыгнула от удивления: неужели, думаю, и впрямь столько?

Передавая в архив наши программы, мы бухгалтерией не занимались – просто переправляли по мере готовности. Кстати, сказать, ещё что-то осталось, всё руки не доходят посмотреть, что именно.

А попало всё это к феноменальному энтузиасту радио Юрию Метёлкину почти случайно. Точнее, могло вовсе не попасть.

Однажды с утра пораньше раздался звонок: «Здравствуйте, звоню из Москвы. У меня есть сведения, что у вас сохранились программы, автором и ведущей которых вы были. И я был бы очень признателен, если бы вы согласились передать их нашему Радио». Чтоб было понятно: программы, о которых шла речь, у нас были на СИ ДИ, их перевели по своей инициативе с бобин ребята-продюсеры, когда узнали, что собираюсь уходить с Голоса. Изо дня в день таскали и таскали к инженерам-американцам, не только переводили всё на Си Ди, но даже делали обложки с названиями и пр. А, чтобы передать эти диски в Москву, надо было перевести их в компьютерный формат, то есть потратить изрядно-таки много времени, скажу прямо.

Но это было потом, уже когда мы уступили доводам Юрия Метёлкина. А за два дня до этого диски ожидала совсем другая судьба. Придя в себя после ночной работы в нашей студии, позавтракав и накачавшись кофе, спустились вниз и, почти не сговариваясь, остановились перед стеллажами, на которых стояли коробки с дисками. Много коробок! И Алёша сказал: может, оттащить их в сарай? «Да в какой сарай, - говорю, - на фиг их хранить, кому они нужны. Ты их будешь слушать что ли? Я их буду слушать? Послезавтра – четверг, приедут забирать мусор и помойку, выставим и увезут».

- Ну, может, помотришь и что-то оставишь на память? - неуверенно предложил Алёша.

- Нет, - говорю, - оставлять на память – значит нужно, хоть и наклейки есть, слушать, чтобы понять, что такое там сочинила.

Я и впрямь не знала: в неделю выходило не меньше четырёх, а одно время и пяти моих авторских программ. Что значило не только написать, но найти музыку, просчитать с точностью до секунд, сколько её нужно для записи, когда вводить, когда уводить и т. д. А если были кино-клипы, смонтировать их и много всяких других подробностей. Это были канувшие в Лету времена магнитофонных лент и огромных бобин. И потом – записать. Словом, программы слышала только в тех случаях, когда у кого-то из боссов возникало предложение что-то выдвинуть на конкурс.

На Голосе – что-то около пятидесяти языковых отделов, и раз в три месяца они выдвигали на эти конкурсы программы, а в конце года уже был конкурс вышедших в финал. Победившие, кстати сказать, достаивались не только грамот, но и денежных премий. Похваляюсь уж, ладно: у нас с Алексеем на двоих около тридцати премий, у него чуть больше – я в штате начала работать позже, а внештатные за людей не считались.

Так что идея – оставить на память наугад была отвергнута, и, соответственно, ящики были перенесены к выходу и ждали своей участи. И вот накануне этого дня и раздался звонок. Та-та-та-та... та-та-та-та – как в Бетховенской сонате: «Старое Радио» постучало в дверь.

Признаюсь, что я очень реагирую на голоса, «опознаю» людей по голосу, и если бы голос Метёлкина меня не расположил, дальше разговора дело не пошло бы. Но он мне понравился и манера речи – тоже и что-то ещё. Хотя артачилась я довольно долго – не из упрямства, а просто не понимая, не видя резона в том, чтобы программы Голоса Америки нужны были Старому Радио и вообще кому-то, разве что, потому что «старые». А он мне

доказывал, как это важно – сохранить историю радио. Что это – именно История, история нашей жизни. И, Бог мой! – какие только аргументы он не приводил. Но, если честно, убедили не логические выкладки, а его энтузиазм, энергия, я бы даже сказала – страсть.

И вот так мы впряглись в работу по переводу дисков в нужный формат и потихонечку, маленькими порциями, всё пересылали в коллекцию Старого Радио.

Но, возвращаясь к замечаниям о Голосе Америки. Среди них проскользнул комментарий, что вот мол, в отличие от Голоса, программы Би Би Си были почти часовые. На что отвечу, что это не так. Что Джазовый час – ЧАС! – вёл на Голосе не кто иной, как всемирно известный Уиллис Коновер, тот самый Коновер, которого слушал весь мир, чьи позывные с замиранием сердца ловили мы на своих приёмниках, заземляя их на батареях, в те времена в Советском Союзе, когда джаз был, в сущности, под запретом.

А если говорить о русском отделе, то этих программ, когда я пришла туда работать, вообще не было... Равно как и в других языковых отделах. И если бы не возглавлявшая в ту пору культурный отдел Татьяна Ретивов, которую я считаю «крёстной матерью» вообще всех своих программ и вспоминаю с огромной любовью, их бы и не возникло.

Но это уже история другая. И об этом, если случится повод, в другой раз. А сейчас вот вспоминаю «с грустью и нежностью» Уиллиса Конновера, которого застала ещё на Голосе. И который, когда встречались с ним на пути в студии, так прекрасно склонял голову в приветственном «How are you»? И помню его медленно шагающим по длинному коридору Голоса Америки уже позже, когда был болен, и жить оставалось совсем немного, и он так грустно улыбался в ответ на приветствие, что и сейчас щемит сердце. Но грусть эта, заимствуя у А. С, светлая. Главное – огромная к нему благодарность, которую я испытывала и испытываю вместе с миллионами людей во всём мире.

Спасибо, Уилли. И спасибо ещё раз, Старое Радио и Юрий Метёлкин!!!

P.S. Уничтожение плёнок

В этой истории есть ещё одна глава, правда, не с таким победоносным концом.

В 2000 году я очень долго отсутствовала на Голосе. Болела. Почти год. И вот однажды, когда в нашем отделе был чуть ли не капитальный ремонт, нам позвонил кто-то из продюсеров (у Алёши, как понимаю, были выходные, теперь уже не помню) и говорит: «Жанна, тут из твоей кабинки выносят коробки и выставляют их в коридор. Это значит, что их на следующий день увезут на свалку. Приезжай, если можешь, посмотри, что там в ящиках». А я, в общем-то не очень могла. А уж о том, чтобы приехать днём, никакого разговора быть не могло. И вот под покровом, что называется, ночи, очень поздно, приехали на Голос. В отделе – никого, время ночных смен уже кончилось, гудят слегка компьютеры, не слышно шума городского, Вашингтон спит, весь раззор выглядит жутковато под люминисцентными лампами – ужастик, одним словом.

И вот, входим в мою клетку: горы бобин, в самом прямом смысле слова – горы. И Алёша идёт к ксерокс машинам, притаскивает картонные коробки из-под бумаги, и мы начинаем, укладывать туда всё подряд.

Через пару часов всё уложено, заклеено, надписано...

И когда пришла пора разбираться, что же осталось, мы выяснили, чего нет. И оказалось, что вся Музыка Кантри – программа, которую писала и вела несколько лет (к тому времени её уже в эфире несколько лет как не было) вся канула в Лету.

Сказать, что расстроилась тогда, не могу, Взбешена – да, да и то недолго. В то время уже мало что могло удивить. Начальство сменилось, и всё было ориентировано на «дружбу» с бывшим Сов. Союзом. Какие уж там культурные программы: перестройка, ёлки-палки, глушения нет, всё знают и без нас.

Когда продюсеры стали таскать сохранённые бобины к инженерам и делать диски, среди них затесалось несколько передач Музыки Кантри. Не слишком интересных в смысле исполнителей. А вот трёх программ, посвящённых моему любимому Уилли Нелсону, в которых было большое с ним интервью после концерта в Вашингтоне, в его знаменитом автобусе Honeysuckle Rose (на картиночке – интерьер), в котором он гастролировал по стране, и которого уже тоже нет – жаль, по-настоящему жаль. Sic transit gloria mundi. Ха! не написала бы коммента, Ирина – не разразилась бы «мемуаром».

Кончина Бродского

Звонок раздался совсем рано и – катастрофически: у нас был выходной, решили выспаться. Застал в самой гуще какого-то смурного сна. Вскочила и не сразу поняла, что уже не сплю, а держу в руках трубку.

А там – «Жанна, Жанна, ты меня слышишь»?

Наконец, сообразила ответить. Звонили с Голоса. Редактор отдела новостей: «Жан, ты прости, что так рано. Но тут такое дело. Сегодня ночью умер Иосиф...». И вот сижу и никак не могу разжать губы, никак не могла вздохнуть. На другом конце телефона была мёртвая тишина.

И – через какое-то тысячелетье: «Жан, ты в порядке»?

Дальше – не помню. Помню, что сказала: «Извини. Сейчас приеду».

И через секунду поняла, что эту фразу «Иосиф умер» произнести не смогу. А надо будить Алёшу. Но он уже каким-то образом сообразил, что звонок не к добру.

Спрашивал: «Что, детка, что с тобой, что случилось?»

- Иосиф. Иосиф, - повторила я.

Всё, что шло в этот день следом, было странным образом лишено эмоций. Как будто раздался молчаливый приказ: собраться, привести себя в порядок, глотнуть кофе, сесть за руль, ехать на станцию.

Плакать – в смысле плакать – не получалось. Говорить тоже. Первая мысль – ехать в Нью Йорк – сразу погасла. Понимали, что проститься, постоять у гроба, увидеть ещё раз – не суждено. Знали, что надо будет прощаться в эфире.

И все эти дни до похорон начали готовить материал для прямой трансляции из Нью-Йорка и рассказа из Вашингтонской студии.

Слушала эту программу много-много лет спустя. Уже когда был осознан факт и смерти Бродского, и чудовищного вакуума, образовавшегося в нашей жизни.

Портреты

Билли Айдол

На концерт Билли Айдола, который впервые после двухлетнего перерыва совершал большое гастрольное турне по Америке, я поехала не одна. Моя дочь Настасья сидела в автомобиле рядом со мной, всеми силами скрывая возбуждение от предвкушаемого удовольствия. Не очень понимая, найдёт ли она в моём лице союзницу, она была готова защищать одного из своих кумиров и, более того: ей наверняка хотелось, чтобы эта возможность ей представилась.

Однако, в этот вечер все привычные стереотипы, вытекающие из формулы «консервативные родители и сверхсовременные дети», явно не работали.

Во-первых, на концерт предложила ей поехать я; во-вторых, она знала, что я знаю Билли Айдола не понаслышке; в-третьих, она сама с гордостью сообщала мне, что её классные подружки сходят с ума от зависти: как это – мама и слушает Билли Айдола!

Я, в свою очередь, нервничала от того, что меня предупреждали: атмосфера рок-концерта может даже самых либеральных и посвящённых, но, мягко говоря, не подросткового возраста, привести в шоковое состояние, и я стремилась внести непринуждённость в нашу поездку, предлагая время от времени, когда Maryweather Post Pavilion – большая летняя эстрада, куда мы направлялись, была не за горами, угадать, кто из сидящих в автомобилях, мимо которых проезжали мы, или которые обгоняли нас, направляется туда же. Во всяком случае, когда в автомобилях сидело не меньше четырёх ребятшек, и вид у них был слегка безумноватый, шансы, что и они едут слушать Билли Айдола, переваливали за пятьдесят из ста.

Мы слегка опаздывали, но это нас не слишком волновало: как заведено в подобных концертах, появлению звезды предшествует выступление группы. На этот раз это была рок-группа «Культ». Тяжёлый металл. Не очень тяжёлый, поправила бы меня Настя. Тяжёлый – это супер. Не очень – это не очень.

Роль этих групп, которые заполняют своим выступлением первую часть концерта – разогреть публику, довести её до определённой кондиции. Вообще, как я поняла из этого своего опыта, всё в рок-концерте, по продуманности и соразмерности элементов, которые должны воздействовать на психику принимающего участие в действе зрителя, напоминает культовые средневековые мистерии, а может быть, уходит своими корнями ещё глубже.

(Впрочем, я дала себе слово передать свои непосредственные ощущения, а размышлениям дать вызреть, и уж потом позволить себе их высказать).

Итак, группа «Культ» на сцене, динамики только что не взрываются, театр под открытым небом, и день, жаркий и душный, ещё не подошёл к закатному часу.

Ребятки расхаживают по зелёной поляне, которая выполняет роль амфитеатра. Счастливые обладатели мест впереди ограничены в возможности передвижения: как-никак места! А здесь места на лужайке, так они и называются, дают возможность расположиться вольготно, кто на чём. У нас – спальный мешок.

Впрочем, стоять до поры до времени хотелось больше, чем сидеть. Зрители, хоть и реагируют на выступление, но как-то не слишком бурно, явно приберегая силы. Образуются группки, то и дело раздаются возгласы, кто-то увидел знакомого, кто-то делится предположениями, что Билли будет петь, а что нет, будет ли он бисировать, но

над всем – горячка ожидания, которая по мере того, как на землю опускаются сумерки, увеличивает плотность воздуха в буквальном смысле слова.

У нас образуется своя мини-группка. Сидящие и стоящие рядом с уважением посматривают на меня: ай, да мама! Очень скоро мы начинаем перебрасываться репликами и обмениваться заговорщицкими взглядами: мол, уже скоро! Очень славные ребяташки, сидящие слева, по виду – типичные интеллектуалы, когда выступление «Культа» кончается, советуют мне присесть: до выхода Билли ещё пятнадцать минут.

По той слаженности, с которой сидящая сзади пара: она вся в чёрном, непомерных размеров в декольте, обнаруживающем её рубенсовские стати, он – в обветшалых джинсиках, отороченных по низу полотняным шитьём в мережку, наверху нечто кружевное и полупрозрачное (его худосочность рядом с её пышностью вызывает игривую мысль о вампирах) – по целеустремлённости и стремительности, с которой они снимаются с места и возвращаются с явно заряженной марихуанкой трубочкой, которая методично двигается взад-вперёд, от него к ней и обратно, всё честь по чести, я понимаю: скоро.

И вот оно начинается: на погружённую в темноту сцену, почти незримо, выходят музыканты. Вот метание теней прекратилось, настойчивые аккорды вместе с пульсирующим и меняющим окраску светом, нагнетают немыслимое напряжение. Когда кажется, что напряжение стало невыносимым, сцена озаряется ослепительным светом и позади всей группы, почти над ней, за ударником, высвечивается фигура Билли Айдола.

Зал взрывается ликованием: действие началось! Концерт открывался первым боевиком Айдола, напетым с группой «Generation X» – «Танец с самим собой», и едва прозвучали первые аккорды, сидящих на земле не остаётся: большинство, иллюстрируя исполняемое Билли, пускаются в пляс, кто во что горазд. Причём, виртуозность некоторых – воистину концерт в концерте.

Моё дитя робковато, но приплясывает. Соседи слева, ребята так лет двадцати двух, это уже почти верхний возрастной предел, средний возраст шестнадцать – восемнадцать, спрашивают у меня: как? Точнее, я лишь угадываю вопрос – услышать что-либо невозможно, и я одобряюще киваю: о'кей! Тогда паренёк, умилившись, кричит мне на ухо: «Вы не пожалеете, он – парень что надо, я его уже слышал».

В это время случается неожиданное. Толпа рукоплещет, а мой сосед указывает мне на девчоночку, которая стремительно движется в мою сторону. «Ваша знакомая»? - спрашивает он. Я отрицательно качаю головой, и в это время девчурку, как-то рикошетом, пронесит мимо меня. Ребята объясняют: не обращайтесь внимание, она явно накурилась.

Справедливости ради надо сказать, что, хотя запашок над полянкой витал, большинство приходило в возбуждение без дополнительных средств. Когда опасность общения с девицей уже как бы и миновала, она вдруг возникла с другой стороны, и мои новые знакомые уверенно сказали: «Она всё-таки вас знает»!

Девица, премиленькое существо в отрепьях и, что называется, не вяжущая лыка, с восторгом сгребла меня в объятия и возвестила: «Твои волосы. Кул! Шикарно! Я люблю тебя. Ты мне нравишься!» И вдруг её тирада оборвалась на полуслове: она встретилась глазами с Настенькой, которая взирала на неё с нескрываемым ужасом. Девчурка издала звук, похожий на лёгкое «ик», и у неё сделался вид нашкодившего котёнка. Мне кажется, из неё даже мигом вылетела дурь. Она перевела глаза с моей дочки на меня. Ещё раз туда и обратно и спросила почти плача: «Ты её мама»? Когда я кивком подтвердила это, она с душераздирающей искренностью воскликнула: «I am sorry. Я извиняюсь!» И затем,

качнувшись, прибавила с непоколебимостью, сделавшей бы честь Галилею: от сказанного, мол, не отрекаюсь, прибавила: «Всё равно! Твои рыжие волосы – это здорово. Кул!!!»

И никакого конфуза не произошло: все облегчённо рассмеялись.

Концерт продолжался. В свою вашингтонскую программу Билли Айдол включил наиболее известные боевики из прежних альбомов и из последнего «Whiplash smile».

«Кто-то сказал, что я умер, - сказал накануне концерта Билли одному из репортёров, - или стал инвалидом, наглотавшись наркотиков. Ну, что ж. По крайней мере, кому-то до меня есть дело, раз они рассказывают обо мне всякие небылицы».

Билли довольно иронически относился к застывшему отношению к себе, как непробиваемом железному панк-рокеру. «Это из-за моего вида», - смеётся он. А вид у Билли Айдола и впрямь довольно впечатляющий. Он удивительно хорошо собой, но не в том смысле, что красавчик. В его облике пленяет атлетическая стройность, медальный профиль и – взгляд сердитого и немного преувеличивающего свою сердитость подростка.

Его часто сравнивали с Пресли. Сам он, говоря о впечатлении, которое на него произвёл король Элвис в концерте, а затем просмотр многих записей его концерта, сетует, что современный рок утратил свою непосредственность и юмор. Став слишком умозрительным, либо слишком вычурным, порою – претенциозно устрашающим.

Ему 31 год. И он утверждает, что он всё тот же панк-рокер, который выбирает свой собственный путь, определяют ценности и не даёт никому собой помыкать – ни моде, ни продюсерам, ни почитателям. «Вот почему я включил в этот концерт балладу «Sweet», чтобы мои зрители и слушатели узнали ещё одну сторону моего существа. Люди привыкли видеть во мне разгневанного рокера, от которого исходит некая ярость. Мой кулак, который я выбрасываю во время исполнения песен – ещё не весь я».

Не могу с ним не согласиться.

«Ей было шестнадцать, моей нежно беглянке, я готов был отдать ей всего себя. Она взяла всё...»

Билли Айдола спросили однажды, не смущает ли его псевдоним, который может звучать для некоторых несколько претенциозно (его настоящее имя Билли Броуз).

«Ничуть. Айдол – идол. Может означать всё что угодно, в том числе, что – сам себе образец. Что мой герой – я сам...»

Кабаре

“Life is a cabaret my friend”, «Жизнь – это кабаре, мой друг...» Чёрт знает, по какой причине вспомнила и эту песенку, и сам фильм. То ли что-то в атмосфере напоминает те самые зловещие годы, о которых идёт речь в фильме, то ли оттого, что досматриваю последние ленты, которые будут оспаривать Оскара и поневоле всплывают в памяти те, что произвели впечатление в прошлом. Кабаре увидела много лет назад в Москве, на закрытом просмотре для «работников искусств». Хотя копия, пиратская, была не лучшего качества и к тому же чёрно-белой, фильм ошеломил. Собственно, это был первый американский фильм, который произвёл такое сильное впечатление. Потом, много лет спустя, уже в Америке, смотрела вновь и потом ещё раз и ещё на видео, и впечатление подтверждалось каждый раз, и каждый раз открывалось что-то новое. Имена и Минелли, и Грея, и гениального Фосси, режиссёра и хореографа фильма, став обиходными, магии своей не утратили. И по сей день – всё тот же гипноз...

Новый альбом Боба Дилана

Боб Дилан (в мае ему исполнится 73 года) записал совсем недавно диск “Shadows in the Night” («Тени в ночи»), о котором я прожужжала Алёше все уши. Ну, и получила в результате 22-го на ДР в подарок. Диск, в который вошли десять популярных стандартов 20х-60-х годов, записан live в составе из пяти инструментов – две акустических гитары, электро, бас, ударные и, в некоторых из номеров – тромбон, труба и валторна.

Сегодня слушаю запойно. «Чуть ли не с 70-х годов прошлого века я слышал все эти песни в исполнении самых разных исполнителей, - признаётся Дилан, - и мне всегда хотелось записать их тоже».

В некотором роде выбор этих стандартов – сюрприз для верных поклонников Дилана. Не говоря уже о том, что все номера диска – из репертуара Синатры.

«Риск? (я цитирую Дилана). Риск, подобный тому, какой грозит вам при переходе минного поля? Или – при работе на фабрике ядовитых газов? В записи диска никакого риска нет. Сравнить меня с Синатрой – смешно! Даже быть упомянутым рядом с ним – величайший комплимент. Фрэнк – высочайшая гора, и, если мне удалось пройти хотя бы полпути к её вершине, этого достаточно».

Я позволю себе заметить: чрезвычайно бережно подойдя к интерпретации классики американской популярной музыки, Боб Дилан, перефразируя название одной из песен Синатры "My way", спел его песни His way. То есть вполне по-дилановски...

Love it!!!

В качестве сингла выбрал бы не эту, но попытка поставить из собственного диска не удалось: диск свежий, под охраной авторских прав. Эта – тоже в порядке. “Stay with me”. Останься со мной.

Никаких других песен просьба в коментах не ставить. It’s my choice and my way.

Элла Фитцджералд

25 апреля – день рождения великой джазовой исполнительницы Эллы Фитцджералд (25 апр. 1917 – 15 июня 1996).

Ниже – песня “Cry Me a River”, её история и перевод. Почему рядом с фотографиями Эллы – фотография Барака Обамы, там же...

Песня "Cry Me a River" была написана Артуром Хамильтоном специально для Эллы Фитцджералд. Она должна была звучать в фильме *Pete Kelly's Blues*, действие которого происходит в 20-е годы. В фильм песня, однако, не вошла. Продюсеры фильма, да и диска, который должен был выйти одновременно с фильмом, сочли, что чёрная исполнительница не может употреблять слово «plebeian, так как она попросту не может знать, что это слово означает. И это вызовет несомненное недовольство зрителей, на которых фильм и песня в нём были рассчитаны.

«Интеллигентность» подобного слова в устах чёрной исполнительницы несомненно возмутит их», - заявили они.

Так что впервые песня прозвучала в 1955 году в исполнении Джули Лондон. А первая запись этой баллады в исполнении Эллы Фитцджералд была сделана лишь в 1961-м.

Могли ли знать продюсеры фильма и диска, что по странному и вполне судьбоносному совпадению, в этом же году родился человек по имени Барак Хуссейн

Обама, которому предстояло через сорок семь лет стать сорок четвёртым – и первым чёрным! – Президентом Соединённых Штатов? К тому же, смею заметить, одним из самых интеллигентных президентов нашей страны.

Элле аккомпанируют: Лу Леви – пиано, Херб Эллис – гитара, Джо Мондрагон – бас, Газ Джонсон – ударные.

Запись сделана 23 июня 1961 года в Лос-Анджелесе (Verve Records)

Говоришь, что любишь?
Плачешь ночь напролет?
Что ж, наплачь мне полную реку,
как я реки слез пролила о тебе.
Просишь прощенья
за то, что был мне неверен?
Плачь. Наплачь мне целую реку.
Ведь я реки слез пролила о тебе.
Ты мучал меня,
чуть не свел с ума.
Помнишь?
Я помню каждое слово:
что любовь – это участь плембеев,
и что я тебе не нужна...
А теперь говоришь, что любишь?
Но, если это правда –
заплачь, не удерживай слез!
Наплачь мне полную реку.

Джин Харрис

Когда в 1984 году умер Каунт Бейси-пишет редактор джазового отдела журнала Биллборд Джефф Левинсон писал, что он унёс с собой редчайший дар пианиста – способность играть и удерживать блюзовый ход независимо от темпа. Бейси знал тайну бережливости, минималистскую основу великого искусства, диктующую что ключом к процессу создания могучего содержания является умение прибавлять вычитая...

Среди многих пианистов, следующих стилистическим нормам Бейси, духовно самым близким является, мне кажется, Джин Харрис.

В аннотации к одному из первых альбомов Харриса, вышедшему почти полвека назад, рецензент писал о новой группе, которая взлетела к славе подобно метеору. Назывался этот альбом «Наша любовь пришла, чтобы остаться».

Перефразируя название диска, рецензент утверждал, что трио Джина Харриса пришло чтобы остаться...

И он не ошибся. За прошедшие с тех пор десятилетия этот крупный человек с огромными руками, непонятно каким образом извлекающими из фортепьяно хрустально чистый звук, достиг вершин джазового исполнительства.

Жак Брель

Не могла объяснить тогда, не могу и сейчас, почему в пору моего театрального студенчества, я пользовалась каким-то невероятным расположением администраторов питерских театров и концертных площадок: не было случая, чтобы я не получила контрамарки на премьерный спектакль, даже балетный, или выступления приезжих гастролёров. У меня возникла даже в связи с этим какая-то подозрительность в отношении однокурсников, которые, всякий раз, задолго до начала гастролей зарубежных трупп или исполнителей, начинали слишком, как мне казалось, усердно выказывать моей особе знаки внимания. «Подлизываются, гады», - думала я. «Да ладно, Жак, ничего подозрительного нет, - сказала мне однажды моя подруга-театроведка. - Ну, да, может, и надеются, что ты прихватишь их с собой. Просто в обычное время ты их «заходов» по другому поводу не замечаешь, только и всего!»

В любом случае, обладательницами второй контрамарки, которую мне порой великодушно давали, становились не однокурсники, а одна из моих двух подруг. Другая же умудрялась порой проскальзывать «зайцем» вместе с толпой, пока я задерживалась на секунду рядом с контролёршей, отвлекая её внимание.

Это было время, когда внезапно открылся какой-то загадочный шлюз, и в страну хлынул поток и зарубежных театральных трупп, и исполнителей. И это было время настоящей французской лихорадки: все мы балдели от счастья, от возможности услышать Шарля Азнавура и Жюльетт Греко, Фриду Бакара и Жильбера Беко, Сержа Реджани и Ива Монтана. Они открыли нам совершенно неведомый, манящий и бесконечно разнообразный мир: каждый исполнитель отличался и своим репертуаром, и стилем, и манерой существования на сцене, и способом общения со зрителями.

До сих пор почти физически ощущаю магнетизм и выразительность Азнавура, завораживающую таинственность Греко, сногшибательный темперамент Беко. Но я не могла вообразить даже приблизительно, когда рвалась на концерт Бреля (он выступал на сцене Александринки), что меня ждёт! Песен его я не знала, но когда увидела его фотографии, что-то ёкнуло, и при мысли о том, что на концерт я могу не попасть, мне просто становилось дурно – почему? Бог весть! Предчувствие, должно быть.

Как правило, всем контрамарочникам редко случалось где-нибудь приземлиться: спектакли и концерты приходилось «выстаивать» и чаще всего где-нибудь на верхотуре, но в этот раз мне неслыханно повезло (и, кстати, так же повезло там же, на концерте Марлен Дитрих). Я пристроилась было за последними рядами партера и буквально за несколько секунд до того, как в зале погас свет, меня тронула за рукав билетёрша и молча, кивком головы, указала мне куда-то вперёд, и я, пригибаясь, пошла по проходу и, не дойдя до первого ряда, не веря своему счастью, плюхнулась в свободное кресло в проходе слева. Как только погас свет, я поняла: по крайней мере, первое отделение в зал уже никого не впустят, я буду сидеть, и от сцены меня будут отделять всего несколько шагов.

Забегая вперёд, скажу: на место, которое мне досталось, не претендовал никто, вероятней всего оно было «оставлено» для какой-то важной шишки, не удостоившей гениального Бреля своим вниманием.

Как рассказать о том, что такое Брель «творил» в тот вечер на сцене? А он каждую песню и впрямь «сотворял», и после каждой возникало ощущение что – всё, что это конец, что за этим просто ничего не может быть, что сейчас и он, и зал вместе с ним выйдет в

какое-то иное измерение, в котором невозможен обычный наш язык, жесты, чувства. Что жить можно только так – на разрыв души, а всё остальное – подлог, фальшивка, обман.

Фигура Бреля была будто лишена плоти: вытянутый, как на картинах Эль Греко стан, аскетическое лицо со впалыми щеками и непропорционально крупным на худом, почти измождённом лице ртом. И – руки! Не только огромные кисти рук, но и сами руки, будто не связанные с телом, живущие сами по себе птицы, взмывающие вверх и трепещущие, и смеющиеся или рыдающие, простёртые в мольбе или безжалостно рассекающие пространство неистовыми жестами. И – страсть. И мука. И боль, от которой сердце заходило в благодарности. Брель – тратился! Я никогда больше не видела, чтобы так расходовали себя на сцене, так нерационально, так отчаянно, так безжалостно к самому себе.

Многие считают «визитной» карточкой Бреля песню «Не покидай меня». Я думаю, что она, лучше или хуже, может быть исполнена многими. С большей или меньшей степенью выразительности и эмоциональности. Так трагично, как он её исполнил, правда, не исполнил никто. И этот трагизм, из уст мужчины, был почти странен. Эмоциональная открытость Бреля в этой песне изумила и тогда, в тот вечер, и изумляет всякий раз, когда слушаю и вижу её в записи. Но тогда, в тот вечер, потрясла меня и навсегда врезалась в память другая песня – «Амстердам».

Он пел её неистово, с диким вызовом жизни, всему устоявшемуся, обыденному. Казалось, будто вот сейчас он ещё раз вскинет вверх руки, и весь привычный уклад жизни, все нормы полетят к чертям, мы захотим туда, в этот портовый ад, к этой матросне, в этот разгул, в эту вседозволенность, в эту боль, в эту избыточность.

Последним своим взмахом руки Брель разворачивал себя ОТ зала, вырывая своё тело из светового круга, в котором стоял, и в свет успели попасть брызги струящегося с лица пота, буквально как шлейф устремившиеся в темноту, вслед за разворотом тела. Ещё секунда – и свет вспыхивал, и Брель стоял, уже повернувшись к залу и слегка склонял голову в ответ на шквал аплодисментов восторженного и ошеломлённого зала. Не знаю, может, мне казалось, что кричали все. Во всяком случае, мой вопль потонул в общем ликованье. «Амстердам!» Врезавшаяся навек в сердце песня и эти брызги в луче света. Всегда – всегда помню этот момент! И всегда возвращаются ко мне мгновения неслыханного счастья, испытанного в этот вечер, проведённый почти рядом с гениальным Брелем!

Жюльет Греко

Кое с чем мне здорово в жизни повезло. Вот, скажем, увидеть и услышать знаменитых французских шансонье. Каждый поражал по-своему: Азнавур – эмоциональной насыщенностью каждой из песен и точностью и выразительностью пластики; Брель – ошеломительным темпераментом и неистовостью; Монтан, победительно обаятельный, создававший на сцене атмосферу интима и тепла; Беко, буквально сшибавший с ног своей энергией...

Все они стали, в какой-то мере, эталоном для меня – эталоном того, что такое... Каждый, вне зависимости от масштаба дарования, неповторимость индивидуальности. Когда стало известно, что к нам едет Жюльетт Греко, Москва заволновалась, забурлила:

шутка ли сказать – сама муза экзистенциализма, любимица французских интеллектуалов, загадочная красавица...

Я видела пару фотографий, с которых смотрело холодноватое и экзотичное лицо – такая себе орхидея, подумала я...

Жюльетт Греко я увидела на сцене театра эстрады. Её выступление запомнилось ярко и чётко, как нечто совершенно непостижимое, недоступное.

Разумеется, ей предшествовала слава Чёрной розы Монмартра, но не думаю, что хоть кто-то из присутствовавших в зале мог предположить, что такое она во плоти. Её выход на сцену сам по себе на меня произвёл впечатление чего-то таинственного, почти мистического. Точнее – не выход, а появление. Или, пожалуй, даже не появление, а возникновение.

кей ди лэнг

(16 ноября, 2014)

В моём послужном списке как автора и ведущей программ на Голосе Америке есть пара вещей, которыми горжусь как малое дитя. Ну, просто до бахвальства прямо. В сущности, к самим программам это имеет отношения мало. Скорее – к их объектам.

Помимо моих, порой рискованных, оscarовских «предсказаний» (как правило, сбывавшихся) открыла несколько имён. И не только в кино. Открыла в том смысле, что написала об исполнителях, когда их имена только-только появились на горизонте. То есть, до известности, до звёздного статуса, до ВСЕГО.

Помню, сделала передачу о Шерол Кроу, и наш тогдашний спец по року подошёл ко мне и говорит: «А чего ты такие дифирамбы ей поёшь, я и не слышал ничего о ней». А я ему: «Потерпи годик-другой, тогда и поговорим». Правда, по поводу Бреда Пита, эпизодическая роль которого в «Телме и Луиз» произвела на меня сильное впечатление, никто никаких вопросов не задавал. У меня уже было в этой области некоторое «реноме». Дамы наши пошли смотреть фильм и охали в связи с неотразимостью, сексуальностью Бреда, хотя и сомневались насчёт того сделает ли карьеру. «Сделает, сделает», - успокоила я их. И – сделал! и пр.

По поводу Дайны Кроул никаких возражений не было просто потому, я думаю, что джаз практически в Русском отделе мало кого волновал. Это было время, когда я с большим трудом, уже после того, как получасовые выпуски «прикрыли», убедила вернуть джаз в эфир ну, хоть в каком-то варианте. Наверное, сыграли какую-то роль письма слушателей. Не уверена. Думаю, если бы не Коновер, этого не случилось бы. Но это – другая история. А я – об именах.

Так вот: формат программы, которую я назвала «Джазовый клуб», был совершенно варварский. Сначала начальство дало добро на восемь минут. Есть подозрение, что расчёт был на то, что я полезу в бутылку и в результате гордо от такой подачи откажусь. Но, не тут-то было! И постепенно мы с продюсерами «приворовывали» эфирное время, растягивая выпуски до десяти, а потом до двенадцати минут.

Так или иначе, время от времени приходилось объяснять слушателям, что клуб наш – дегустационный, предлагаю отведать всего лишь крошечный глоток того или иного джазового напитка. И вот, уже во второй выпуск я включила Дайан Кроул, в которую просто влюбилась. Имя её только-только начинало произноситься любителями джаза

почтительно. Мне, кстати, пару лет спустя довелось слушать её в Нью-Йорке. И к первому впечатлению прибавилось уже удовольствие от возможности ещё и видеть её на сцене.

И, наконец, мы подошли к музыке Кантри и моему «открытию» ещё одного имени. С ним связана вполне характерная для моих трудов и дней на Голосе история.

Требовалось изрядно много времени, прежде чем дети второй волны эмиграции, «принимали» представителей так называемой третьей волны. Особенно, когда они вторгались в область американской жизни. Понадобилось какое-то время, пока появилось ко мне доверие. Сначала ребята – американцы, продюсеры, в основном – стали подходить и спрашивать, стоит ли идти, скажем, посмотреть какой-то фильм. А потом уже и русские, им понадобилось времени побольше.

И вот написала я очередную программу, отдала на редакцию (ага!), подходит ко мне редакторша, которой эта Кантри – до одного места, и говорит с укоризной: «Жанна, что же вы имя-то этой вашей исполнительницы... – запинается, потому что имени никогда не слышала и воспроизвести не может, заглядывает в текст и проносит его, - что же вы написали имя, мало что с маленькой буквы, так ещё и сокращённо!»

Выслушиваю. Жутко бешусь. Молчу. Считаю до десяти. А потом нежненько так говорю: «Вам диск принести»? Недоумевает. А я уже иду к своему столу, она, невольно, влечётся за мной. «Взгляните, говорю...» Читает. «А что же это такое значит? Опечатка, что ли?»

«Да нет, - говорю, - пожелание исполнительницы. Или причуда, как вам больше по душе. А зовут – точнее звали – Кэтрин Доун Лэнг. А теперь вот будут звать только вот так: кей ди. С маленькой буквы. Уж извините. И фамилия – тем же макарон».

Представляете? Вот её я и открыла. Правда, в отличие от меня и нескольких больших исполнительниц Кантри, официальный Нэшвил её так никогда и не принял. Хотя именно с ней Рой Орбисон записал «Crying», одну из самых знаменитых своих песен, и эта запись принесла в 1989 году ему и кэй ди премию Грэмми.

Вот, собственно, и вся история. «Плачу, плачу из-за тебя...»

Мерил Стрип

Самой впечатляющей частью только что закончившейся в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе 74-й церемонии вручения Золотых Глобусов стало выступление Мерил Стрип, удостоенной премии имени Сесилия Де Милля за выдающийся вклад в киноискусство.

В своей речи она назвала присутствующих в зале самой ошеломленной и очернённой группой людей в американском обществе – Голливуд, иностранцы и пресса. Она перечислила имена присутствующих актеров родом из Южной Каролины и Нью-Джерси, Флориды и Охайо, Иерусалима и Виченцы, Эфиопии, Ирландии и Канады.

«Где их свидетельства о рождении?» - продолжала Стрип, - Словом, Голливуд переполнен чужаками и иностранцами. И если выдворить их страны, что у нас останется? Футбол и разнообразные боевые искусства, которые искусством не являются. Работа актёра заключается в том, чтобы воплотить жизнь людей, отличных от нас, и дать зрителям почувствовать, что это такое. И в этом году, - сказала Стрип, - было много ошеломительных, захватывающих работ. Но было одно исполнение в этом году, которое меня потрясло, которое пронзило моё сердце. Не потому, что оно было хорошим. Ничего

хорошего в нём не было. Но оно принесло результаты, оно сделало своё дело. Оно было нацелено на определённую аудиторию, заставив её хохотать и скалиться. Человек, который должен занять самый ответственный пост в нашей стране, изображал репортёра-инвалида. Глумился над ним. Это разбило моё сердце, я всё ещё не могу прийти в себя, - продолжала Стрип, - Потому что это был не фильм. Это была реальная жизнь. (Мерил говорит об одном из памятных эпизодов предвыборной компании вновь избранного президента). Эта потребность унижить, исходящая от того, кому предоставлена публичная платформа, она проникает в повседневную нашу жизнь, как будто дает всем разрешение поступать так же. Неуважение рождает неуважение, агрессия вызывает агрессию. И когда власть имеющие пользуются своим положением чтобы терроризировать других – проигрываем мы все. И это заставляет меня перейти к прессе. Нам необходима принципиальная пресса, чтобы власти чувствовали свою ответственность, чтобы вызывать их на ковер при каждой их выходке».

Музеи

Галерея Филиппса. (Площадь Дюпон)

Всё значение предупреждения «Парковаться не разрешено» начинаешь по-настоящему понимать, когда небо над Вашингтоном раскалено добела, асфальт под ногами чуть ли не плавится, а дома, как мираж в пустыне, плывут в знойном мареве.

Почему именно в этот день я решила отправиться на выставку в галерею Fillips collection – убейте, объяснить не смогу. Должно быть, сработала всё чаще посещающая в последнее время мысль: а что, если завтра что-нибудь случится (опять! хохотнул внутренний голос), и я так и не увижу Уильяма Чейса, которым заинтересовалась, и картин которого совсем не знала.

На улицу, где расположена галерея, ведёт съезд с Площади Дюпон (Dupont circle), дословно Круг Дюпон, который я иначе как «адским» не называю: от него веером отходит множество улиц, и стоит только проскочить нужную, как попадаешь в лабиринт, из которого выбраться совсем не просто. Но нами руководил твёрдый женский голос навигатора, коварную площадь мы благополучно миновали. Однако, вместо того чтобы, уже находясь от галереи на небольшом расстоянии, поставить машину в первом свободном месте, как последние идиоты подкатили к парадному подъезду. Уже притормозив, мы вспомнили, что парковки рядом нет и, чертыхаясь, начали шнырять по узеньким улочкам, то и дело натываясь на злое «Не парковаться!»

Укатив на изрядное расстояние, мы, наконец, благополучно пришвартовали наш тарантас и на радостях рысью помчались к музею, лишь минут через пять сообразив, что идём в противоположном от него направлении. Вошли мы в музей вконец измочаленные, и я уже не вполне была уверена в том, что хочу что-либо видеть и смогу хоть что-то воспринимать. Но едва мы окунулись в ласковую прохладу вестибюля и вслед за этим поднялись на третий этаж, весь отданный выставке, как все сомнения мгновенно испарились: первое, во что упёрся мой взгляд, был тот самый портрет дамы, который и привлёк моё внимание к Уильяму Мерритту Чейсу, он меня буквально загипнотизировал.

Я вышла из музея в довольно-таки приподнятом настроении, идти напрямик к машине совсем не хотелось и, пройдясь по улочкам вокруг, я, несмотря на зной, дала выход своему фотографическому пылу. Несколько фотографий решила показать. Это – Вашингтон тихий, Вашингтон уютный, Вашингтон укромный, Вашингтон почти идиллический. Картины Чейса – в другой раз.

Леонардо.

Странные я испытываю всегда чувства перед картинами Леонардо... Чуть ли не с юности он присутствовал, если можно так сказать, в моей жизни. Сначала это были попадавшие в мои руки репродукции его картин, которые могла часами рассматривать. К несомненному восторгу всегда примешивался холодок тайны, чем-то похожий на сладковатое замирание сердца, которое возникало в детстве, когда, начитавшись рассказов По, я входила в тёмную комнату и, не сразу зажигая свет, продлевала чувство страха, от которого тряслись поджилки.

В Леонардо была для меня тайна, и эта тайна с годами не уходила, а когда в Эрмитаже, уже студенткой театрального, встретилась с его мадоннами лицом к лицу, юношеская любовь перешла в совершенное обожание. Это была встреча – узнавание: незримо присутствовавшие в моей жизни тени воплотились! Моё обожание Леонардо часто изумляло моих друзей, и, как правило, изумление это выражалось в форме вопросов: а почему не... И дальше – в зависимости от собственных пристрастий вопрошающего, следовало имя художника ... Ни почему... Любовь. В объяснениях не нуждается.

Предметно была выражена она присутствием в доме в Сокольниках копии Джиневры де Бенчи: их в ту пору изготавливали на натянутом на подрамник холсте-не холсте, но на чём-то вроде. Купила её в Питере. А с ней настоящей встретилась уже здесь, в Вашингтоне, в Национальной галерее, куда мы переехали через три года жизни в Нью-Йорке.

Подошла почти в упор к ней без всякого пособничества со стороны служителей. Вышла как выходят на запах. И так и осталась стоять в ущерб всему остальному. И всегда к ней прихожу на свидание, когда бываю здесь.

А другой леонардовский портрет связан с именем моего друга времён театральной юности, Саши Годунова. Портрет Беатриче д'Эсте из миланской Пинакотечи.

Сейчас она поселилась в нашем вполне себе деревенском вирджинском доме, эта накатанная на деревянную доску бутафором театра Станиславского репродукция, привезённая Сашей в подарок из гастрольного турне с Молодым балетом. Об этом как-то рассказывала уже. Повторяться не хочется. Скажу только, что в зависимости от освещения Беатриче меняет выражение лица, а я всегда с благодарностью вспоминаю гениального Сашу.

Любовь к Леонардо была, кстати сказать, главным побудительным мотивом, приведшим нас в Мадриде в музей Лазаро Гальдиано, когда надо было делать выбор: сюда или в музей королевы Софии. Прочла, что в Гальдиано есть картина Леонардо, единственная из написанных им в Испании. Правда, уже в музее выяснилось, что выполнена картина, до недавнего времени приписываемая великому итальянцу, одним из его учеников. Но разочарования не испытала: в нём дух Леонардо несомненно присутствовал. И – всё та же тайна...

А за свою верную любовь к Леонардо была по царски-таки вознаграждена: не могла даже вообразить себе, сколько чудных открытий ожидало меня в галерее, где мы с Алёшей в тот день были единственными посетителями! Увезла, среди прочих трофеев, пиратскую фотографию портрета Иисуса. А здесь, в нашей Национальной, совершенно законно уже, когда появился фотоаппарат, сделала фотографию Джиневры.

С днём рождения, великий мастер!

Национальная галерея

«Фотографировать нельзя», - шёпотом и почти на ухо сказал мне служитель Национальной галереи, едва я переступила порог первого зала выставки «Бронзовая скульптура эллинистического мира. Сила и страсть» (Power and Pathos: Bronze Sculpture of the Hellenistic World). Повернувшись на голос, я увидела очень симпатичного улыбающегося пожилого человека, смущённо указывавшего мне на висящий наперевес аппарат.

Предупреждал он зря: я просчиталась в своей надежде на то, что в будний день, тем более что выставка длилась уже пару месяцев, народу будет не так уж много. Не тут-то было: я выпустила из виду, что это мне до Национальной рукой подать. Ну, не рукой, но докатить за двадцать минут ничего не стоит. А на самом деле, это ведь место паломничества: приезжают со всей страны, да и иностранных туристов хватает. Так что во мне даже не шевельнулся мой обычный пиратский рефлекс на запрет: ясно было, что снимать бессмысленно – вокруг каждой бронзы, как виноградные гроздья, торчали головы посетителей.

И, странное дело, мне в общем-то, как только увидела первую бронзовую скульптуру, снимать не захотелось, но зато неудержимо захотелось дотронуться, прикоснуться... И тут я услышала свистящий окрик: «Нельзя, трогать нельзя!» Я почти присела от удивления, и в голове мелькнуло: это что же, я вслух высказала своё желание?

- А почему нельзя? - ответил детский голос, и я поняла, что окрик относится не ко мне, а к мальчугану, которому мамаша, тем же свистящим шёпотом, объясняла, что нельзя и всё тут, без всяких почему. Не разрешено. Можно только смотреть.

- Так неинтересно, - парировал он, но я уже отошла от них и продолжения диалога не слышала.

Подойдя к предупредившему меня о том, что снимать нельзя, милому зрителю, я спросила: «Можно мне хотя бы снять вот этот фон, эту стену»? Просьба явно озадачила его, и я, воспользовавшись тем, что он колеблется, клятвенно заверила его, что скульптура в кадр не войдёт. И что вряд ли запрет имел отношение к рисованной декорации.

- Ладно, - кивнул он и, глянув вокруг, - Только быстро, пожалуйста!

Прошептав спасибо, щёлкнула затвором, и двинулась в следующий зал.

Придя домой, я, хоть и не услышала, но «увидела» продолжение диалога матери и сына. Попавший в кадр мальчуган застыл истуканом в качестве протеста против того, что ему не дали притронуться. А я, глядя на его насупленную рожицу, подумала: а ведь я, даже если бы разрешили потрогать одну из скульптур, и, несмотря на желание, не решилась бы.

Было в них, тысячелетия пролежавших на морском дне или погребённых под вулканической лавой, что-то вызывающее почти мистический страх. Как если бы это были погребённые в бронзе свитки времени: дотронься – и будешь затянут в бездонный временной тоннель, wormhole. А он – убеждена! – существует.

Как и убеждена, что не первый раз живу на нашей грешной земле: в былых своих воплощениях, которые вижу во сне, всё подробнее и детальнее рассматриваю ландшафты своих прошлых жизней.

Но одно дело сны, а другое – внеплановый отлёт из Национальной галереи. Я и так доставляю своим близким много хлопот вынужденными выпадениями из заведённого уклада жизни. Так что поостереглась не зря. А, может быть, просто побоялась разочарования? Ибо дано и возможно – пока! – только в снах?

P.S. Все фотографии, кроме одной с мальчиком, сделанной в Национальной галерее, из монографии, купленной там же.

Галдиано (ФБ)

В Мадриде, на третий день было решено: после эмоционального напряжения Музея Тиссена-Борнемисы, на Прадо просто не хватит сил, отложим на завтра.

Двинулись в небольшой музей, частную коллекцию Ласаро Галдиано. Влекло меня сюда, по совести говоря, не любопытство вообще, а упоминание, что в музее есть картина Леонардо да Винчи. Правда, в отношении упомянутой работы есть разноречивые мнения. Первоначально она и впрямь приписывалась Леонардо, потом – его ученику Джованни Болтраффио. Хотя есть мнение, что всё происходило в обратном порядке и что это всё-таки Леонардо.

Так или иначе, в музей я шла, влекомая не только любовью к Леонардо, но и подгоняемая ветром неслыханной, почти ураганной силы. Судя по карте, до Галдиано было буквально рукой подать. Однако, на деле улица Серрано, по которой мы решили пройти пешком, в самом конце которой, как выяснилось, расположился музей, на деле оказалось невероятно длинной. В сущности, мы по улице не шли, а как бы бежали, и это был бег с препятствиями, потому что через каждые пять метров меня хватали за полы пиджака вывески супермодных магазинов, а страсть поглазеть на дизайнерские изыски у меня нешуточная.

Но я вела себя как стойкий оловянный солдатик, и на подначивания Алёши – неужели не зайдёшь? – отвечала мычанием: вперёд в Галдиано!

Стойкость моя была щедро вознаграждена: мы провели волшебных несколько часов, причём, в совершенном одиночестве: в музее не было ни одного посетителя! Только мы и возникавшая изредка то в одном, то в другом зале служительница, которая, видимо, отчаянно скучала.

Должна сказать, что коллекция музея произвела сильнейшее впечатление. Его основатель, Хозе Лазаро Галдиано, финансист и издатель, был страстным коллекционером: в музее представлены работы испанских мастеров XV-XIX столетия и шедевры портретного искусства и натюрмортов, до которых я очень охоча.

Впрочем, не обидел Галдиано и европейцев. Да и сам Дворец Флоридо, названный в честь Паулы Флоридо, жены Галдиано, преподнёс немало чудес.

Увенчался наш поход скромным пиршеством в ресторанчике всё на той же Серрано. Разочарование было лишь одно: граппы, крайне необходимой, так как мы продрогли как цуцики, в нём не оказалось. Алёша пил риоху, а я согласилась на «эквивалент», предложенный официанткой. Хотя «эквивалентом» оказался какой-то сладкий ликёрчик, на её вопрос – как? – смиренно ответила: хорошо.

Что ни говори, а искусство явно способствует смягчению нравов!

Сальвадор Дали

Сразу же, для ясности: назвать Сальвадора Дали моим любимым художником было бы преувеличением. Всегда вызывал интерес, иногда производил очень сильное впечатление, порой вызывал отталкивание.

Картина, о которой пойдёт речь – Христос Св. Иоанна на кресте, её репродукция, каким-то странным образом интриговала. Чудилось что-то, что ускользало от возможности – пусть не «понять», но, скажем так, почувствовать. Отделаться,

отмахнуться не удавалось: торчала где-то в запасниках памяти и иногда всплывала, почти дразнила и, как те самые сладкоголосые сирены, манила... и заманила-таки.

И так случилось, что в моём осенне-летнем путешествии в Ирландию, а потом и в Шотландию ей был отведён последний день, хотя и далеко не последнее место.

Признаюсь, что в знакомстве с городами, которые славятся музеями, с любимыми, музеи играют далеко не первенствующую роль. То есть, я всегда знаю, в какие музеи пойду, и что хочу в них увидеть. Не исключая, разумеется, возможности сюрпризов и открытий. Которые как правило случаются. Но главное для меня – уловить колорит города, его звучание, интонацию, его индивидуальность-характер, если хотите, его колорит, и, практически, я никогда не начинаю встречу с ним с музеев.

Даже в сумасшедше-мечтанную и жданную Уффици в мой первый приезд во Флоренцию, в которую была влюблена заочно и от которой ошалела при встрече – даже туда я пошла не на другой день. Билет заказала ещё в Милане, журналистское удостоверение (Голос Америки) избавляло от необходимости стоять в длинной очереди.

Шла туда, как в гости к человеку, с которым была знакома заочно и уже успела полюбить и, казалось, даже узнать. И вот теперь – встреча. Готовилась, как к празднику, на который нужно настроить сердце. Скажу только, что ни в каком сумасшедшем воображении не могла представить, что со мной там случится. Именно – случится. И это был, в известной степени, конфуз: перед парой картин, многожды виденных в репродукциях, я-таки всхлипывала и ничего с собой поделывать не могла.

Но я отвлеклась.

Итак, конечный пункт путешествия, уже осенний его отрезок – Глазго. Программа последнего дня задумана заранее. Консьерж, к которому обратилась за помощью, сказав, что сегодня, изменив своей установке – всюду пешком, так как никогда не знаешь, на что набредёшь по дороге – сегодня, если галереи Келвингроув и Хантериан далеко, дойти не смогу по причине хвори. Ослабела.

- Да хворь-не хворь, - улыбнулся он, - а идти изрядно далеко, лучше автобусом.

И очень тактично и мягко посоветовал, что лучше сначала доехать до Хантериан, а уж в Келвингроув пешком не Бог весть какое расстояние и очень приятная прогулка. Тем более погода замечательная. Надо сказать, что тому, чтобы простуда, с которой вот уже несколько дней сражалась, меня окончательно не уложила в койку, сильно поспособствовал обслуживавший нас в этот день за завтраком кельт, типично, как для себя определила, «шотландской» внешности: светловолосый, румянощёкий, приветливый и как-то по-особенному, почти по-детски улыбчивый. Подходит к столику, здоровается и спрашивает: «Эспрессо сразу принести или попозже»? Услышав, как я закашлялась, отвечая на его вопрос, он, в ответ на просьбу о горячем молоке («очень горячем!»), сочувственно на меня смотрит и, чуть покраснев – никогда не забуду! – смущённо говорит:

- А можно я вам принесу сначала что-то другое? У нас делают такой напиток как раз в случае простуды.

- А что за напиток, - спрашиваю?

- Hot Toddy. Кипяток, мёд, сахар, лимонный сок и скотч.

Говорю:

- Я вряд ли потяну с утра спиртное. То есть, хорошо мне, может, и станет, но продолжить знакомство с Глазго сумею едва ли.

- Нет, - говорит он, - там скотча совсем немного.

Видит, что сомневаюсь и:

- Давайте я вам сделаю, вы попробуете. Не понравится – невелика беда.

Я уж потом сообразила, что «сделаю» означало отправиться в бар, принести оттуда скотч и потом сварганить на кухне это питьё.

Приносит, делаю первый глоток и прихожу в совершенный восторг. Во-первых, начинает легчать в смысле заложенной груди, во-вторых, приятное тепло разливается по всему телу, ну, просто хорошо становится! Он с удовольствием наблюдает за первыми глотками и, довольный, удаляется делать кофе. Когда появляется вновь, благодарю его изо всех сил, а он говорит, что ещё какую-то специю иногда в это питьё добавляют, узнает – завтра скажет. На завтра мы уезжали, и его, за очень ранним завтраком, в 6:30 утра ещё не было. Так и не знаю его имени, и теперь, вспоминая о нём, зову Toddy по имени напиток, с таким участием приготовленного.

Почувствовав себя после завтрака вполне прилично, устремляюсь к желанной цели. Доезжаем на автобусе до галереи Хантериан. Посмотреть Уистлера и двигаться дальше – говорю я себе. Так и делаем и прогулочным шагом (день выдался серенький, но тёплый и безветренный, киношники такой свет называют режимным), пройдя через дивный старинный парк, мы оказываемся у Келвингроув.

Поражает и само здание в стиле испанского барокко, и неожиданный, чтобы не сказать экстравагантный принцип размещения картин, и богатство коллекций, и совсем неизвестные ранее шотландские художники... «Что такое здесь было раньше?», – озираясь вокруг и увидев над входом в центральную залу огромный орган, спросила я одну из девушек за справочным столом. «Здесь ничего не было. Она была задумана и построена именно как галерея и музей, её открытие было приурочено к началу Международной выставки в Глазго 2 мая 1901 года. А орган – для концертов».

Получив информацию о том, где «мой Дали», идём. Кстати, снимать здесь можно всё. Устоять перед соблазном невозможно, а ирония в том, что все мои ухищрения при попытке снять – почти все – терпят фиаско: на снимках в кадр попадает вспышка. Однако, то, из-за чего сюда стремилась, удалось. Почти. Но дело было не в том, чтобы снять, а в том, чтобы увидеть подлинник.

Чертовщина началась почти сразу. Получив указания, где находится картина, мы двинули к ней и тут же, совершенно непостижимым образом, нырнули в какой-то зальчик, будто кто-то потянул за полу плаща и шепнул: «Зачем торопитесь, всё в своё время». И, разумеется, я постояла, покайфовала перед несколькими картинами, поснимала несколько и, уже собравшись искать выход в главную галерею, с изумлением упёрлась в страннейший закуток, на одной из стен которого картины висели почти на уровне пола, а перед ними – какие-то стульчики-лилипуты. Нагнувшись, обнаружила пояснение, что картины висят так низко для совсем маленьких посетителей.

Наулыбавшись и наизумлявшись, выходим на столбовую дорогу, и я на всякий случай у идущей навстречу девушки, работницы музея, уточняю, как нам попасть к Сальвадору... – «Дали» произнести не успеваю – она объясняет, что подняться надо этажом выше, а там уж вы её не пропустите.

И вот, верите ли? Думаю, что плутать заставил меня в этот день сам маэстро, как известно – большой любитель мистификаций. Движемся в указанном направлении, а Дали – нет как нет! Так и вижу: подкручивает свой залихватский ус и плотоядно усмехается. И опять, уже в третий раз, обращаюсь за инструкцией к миловидной девушке, а она, видя

мой явно растерянный вид, ободряет: он здесь, в самом конце, только идти нужно по внешней галерее.

Идём. Издалека понимаю, что ещё десяток-другой шагов, и мы у цели. И вот, когда подходим совсем близко, вижу, что картина, во весь свой огромный рост, расположена как бы в нише, в алькове, на боковых стенах которого ничего нет, а при входе стоит почти во всю ширину его скамья. Как-то автоматически её обхожу, уже картину вроде бы видя, но при этом совсем и не видя, и ныряю в занимающий весь нижний план полотна пейзаж, оказываюсь с ним в одной плоскости: пронзительной синевы озерцо, лодчонки на берегу, фигурка – очевидно, рыбака, полоска озаренного солнечными лучами неба, а над этим – сумрачная, леденящая тьма, от которой хочется отвести поскорей взгляд. Что и делаю – не в сторону, а вверх, на фигуру, занимающую, собственно, почти всё пространство картины.

И опять, как бы не по своей воле, на фигуру Христа не смотрю, а поднимаюсь, захожу за скамью и вижу Его, склонившего надо всем голову и раскинувшего руки не столько вдоль креста, сколько надо всем: и идиллическим пейзажем, и жуткой тьмой.

Тогда я не вспомнила эти сумасшедшие строки Пастернака: «Слишком многим руки для объятья ты раскинешь по концам креста». И даже сейчас, когда пишу, понимаю, что об этом Распятии Пастернак эти строки не написал бы. Здесь другое. Это – уже жест не страждущего на кресте Сына, здесь – жест отцовский, милосердный, берущий и вбирающий в себя всё и вся. И – мысль: это – следующий после распятия шаг, это уже первый шаг к Воскрешению. Руки эти – на них нет ран, они уже и не пригвождены, они будто готовы для полёта...

Снова сажусь, опять встаю и смотрю, хочется встречу продлить, но что-то подсказывает, что – всё, что надо унести это первое впечатление, дать ему осесть внутри. Не анализирую, не размышляю.

Но задержались, однако, ещё немного. Правда, не у полотна. На выходе, по правую руку – экран, уже идёт фильм, связанный с этой работой. Застаём как раз тот момент, когда куратор музея признаётся, что был категорически против того, чтобы платить, баснословную, по его представлению сумму, чтобы приобрести картину, и как теперь он счастлив, что она здесь.

Вот это его «фарру» и поставило точку в моей встрече с Христом св. Иоанна на кресте.

Радуюсь своему внезапному пришедшему этим летом решению увидеть Ирландию и Шотландию. И, среди прочих, и этому подарку. Самая совершенная копия не способна передать впечатления, которое производит подлинник. В данном случае у меня есть ещё и вполне дилетантское убеждение, что немалую роль играет ещё и габарит картины. В данном случае, я бы сказала – масштаб полотна.

Внеплановая Испания

Всегда, отправляясь в путешествие – здесь ли, по Америке, или в Европу, довольно основательно изучаю всё, что нужно знать о тех местах, где собираюсь побывать, и не менее – о музеях. В случае с Испанией этого не случилось, уж простите мне этот каламбур, не удержалась.

А не случилось потому, что дважды поездка в Испанию срывалась. Один раз подкачал вулкан, накрывший Европу пеплом, второй – мой собственный весьма

потрёпанный организм. В этот, боясь сглазить поездку, я готовилась к ней, что называется, через пень-колоду. И пилить себя по этому поводу начала уже в самолёте.

Оказалось, впрочем, что моя неподготовленность, хотя без потерь и не обошлось, в нескольких музеях принесла довольно неожиданные плоды.

Разумеется, во всех музеях есть планы того, где и что расположено, но я всё больше полагалась на собственный нюх. В известном смысле, это был опыт первопроходца, с открытием самородков, восклицаниями «Эврика» и освоением неведомых территорий. Заметила, что есть какая-то закономерность в том, на какие из ранее не известных мне работ современных художников (я имею в виду XX век) меня «выносило» – обнаружился некий вектор, весьма меня позабавивший.

Это были картины русских и американских художников, хотите верьте, хотите нет. «Так-так, живёте двойной жизнью, голубушка», - сказала я себе. Несколько из них мне удалось-таки, вопреки запретам, сфотографировать.

Говорю о мадридском Музее Тиссена Борнемиссы. Причём, самую последнюю – буквально в тот момент, когда в который раз появился вышибала, довольно настойчиво попросивший последних посетителей проследовать к выходу, так как время работы музея закончилось. Я судорожно металась от одной стены к другой, умоляюще глядя на высоченного дядечку и приговаривая: «Сейчас, ещё минутку, сейчас, я ухожу...» И вот уже и впрямь собираясь покинуть зал, вижу на выходе слева картину, которая останавливает моё внимание. На всякий случай снимаю с объектива аппарата крышечку. Служитель – уже почти рядом со мной, вежливо, но настойчиво: «Пожалуйста, время уходить».

- Да, - говорю, - ухожу.

Нацеливаюсь, уже не скрываясь, на картину, щёлкаю затвором, оборачиваюсь к нему и говорю: «Спасибо, так я вам благодарна за то, что разрешили снять». Он раскрывает от изумления рот, потом широко улыбается и произносит: «De nada». Что справедливо растолковываю, так как уже неоднократно слышала, как «пожалуйста».

Смелость города берёт, господа! И вежливость – тоже...

Так вот, эта последняя, уже откровенно снятая картина – Портрет Украинки. Работа Бурлюка. Три восклицательных знака. Надписи к другим работам смотрите, нажав на картинку справа от них.

Упомяну только, что имя автора картины «Биллиард» Варвары Степановой было мне раньше незнакомо. Теперь уже почитала о ней и узнала, что она – видная представительница конструктивизма, к тому же поэт и дизайнер, и соратница, и жена Александра Родченко. Очень интересная особа. Рекомендую познакомиться.

Путешествия

Мадрид. Отель Веллингтон (ФБ)

К Мадриду я подъезжала, ещё не вполне придя в себя от Севильи. Или даже вовсе не придя.

Ничего примечательного из окна скоростного, мчащего нас в Мадрид я не увидела и, то почитывала изъятые из справочника мадридские страницы, то подрёмывала. Нет-нет, да и проплывала мысль, что к новым впечатлениям я не готова, и я тихонько уговаривала себя не относиться к Мадриду с предубеждением.

По дороге в отель, как только мы минули предместья, поняла, что въезжаем в совершенно не похожую на андалузскую реальность. Как в другую страну, подумала я. И тут же одёрнула себя: и хорошо, что в другую, иначе – к чему ехать?

У входа наш багаж перехватили одетые в ливрейную форму два высоченных швейцара, и уже первые шаги по фойе не оставили никакого сомнения в том, что гостиница – на порядок роскошнее наших прежних стойбищ. Правда, и прежние были вполне на высоте: наши нью-йоркские агентши, зная, что частых поездок нам финансово не осилить, строго придерживались инструкции: лучше реже, но – на высоте, никаких второсортных гостиниц.

Однако эта явно давала фору всему ранее виденному. Я даже слегка напряглась: роскошь – это всё-таки роскошь, и я, хоть и радуюсь, когда попадаю ненадолго в гостиничный рай, чувствую себя порой немного виновато.

Впрочем, напряг длился недолго: откуда-то лились звуки арфы. Чудится или и впрямь арфа? – подумала я и пошла на звуки. Оказалось, звуки шли из внушительных размеров залы, в дальнем углу которой и впрямь играла на арфе прехорошенькая девушка. «А что здесь такое?» - спросила я у стоящего у входа метрдотеля.

- Бранч, - ответил он мне не без гордости, и уже, видимо, собрался пуститься в объяснения, но, я извинившись, пошла навстречу Алёше

- Эй, - говорю, - дождавшись, когда наши вещи поехали в номер, - ты как, голоден?

- Я не прочь, - говорит.

- Тогда сам Бог велел нырнуть внутрь.

- Куда?

- А вот туда, - смеюсь, - на звуки арфы. Там бранч.

- Бранч так бранч, - говорит.

- Точно, говорю. Гулять так гулять!

Метрдотель, на этот раз уже почти как знакомой:

- Столик на двоих? Заказывали?

- Нет, отвечаю, мы только что с поезда. Ваши постояльцы.

Спрашивает, в каком номере. Отвечаем. Усаживает за столик. Тут же подплывает официант

- Кава? – Шампанского, то есть. Шампанское оказалось, как и всё остальное, совершенно супер-дупер, хоть я не большая любительница. Потом уже я прочла в справочнике, что бранчи в Веллингтоне славятся на весь Мадрид. А пока мы, без всяких справочников, наслаждались немислимыми вкусами и, в самом прямом смысле – упивались кавой.

Что слегка задержало наш первый выход в город. Но зато мы, сразу выйдя из метро, окунулись в ночную карнавальную атмосферу Puerto del sol, и мысли о неготовности к новым впечатлениям вмиг улетучились.

А на обратном пути: «Видишь, как хорошо, что мы назюсюкались и выехали из дому не сразу», - радостно подытожила я наш первый мадридский день, указав на стоящих на другой стороне платформы двух, ну совершенно из прошлой жизни кирюх, и тут же начала снимать с плеча фотоаппарат. А те, увидев это, начали гримасничать, выделять какие-то совершенно немислимые антраша и жестами предлагая к ним присоединиться.

Думаю, если бы не подошедший поезд, фотосессию готовы были продолжать до бесконечности...

А что до следующего дня... Он начался с сюрприза на одной из площадей и продолжался праздником души в музее Тиссена-Борнемисы. Вещественные доказательства прилагаются...

Оазис и карманники

«Да ну его этот «зайти-сойти» маршрут автобусный! Тут до района Готики – рукой подать, а поездку отложим на завтра», - сказал Алексей.

Решено, подписано, сделано!

День прекрасный, в руках у наводящего – карта, репутация – кристально чистая: почти мгновенно начинает ориентироваться в незнакомых местах, я же этой способности лишена начисто.

Снимая в Питере на первом курсе комнату в доме на Владимирском проспекте, с ослиным упрямством входила чуть ли не год не в тот подъезд. Где уж мне в заокеанских путешествиях!

Итак, движемся в сторону Средневекового района, а потом – в Кафедральный собор. И вот идём и идём, и потихоньку меня начинает охватывать лёгкое беспокойство, и я осторожненько так спрашиваю: «Не может быть, что мы не совсем в правильном направлении движемся?»

- Всё в порядке, - мне в ответ. Мы идём-то всего минут десять.

- Пятнадцать! И идём мы не прогулочным шагом, а движемся прямо-таки рысью, - возражаю я, изо всех сил не давая проснуться сквалыге во мне.

Останавливаемся. Взглянув на карту, Алёша говорит уже не совсем уверенно: «Странно, что я не вижу этой улицы! Но с пути мы не сворачиваем».

И тут я прибегаю к испытанному методу: останавливаюсь как вкопанная, ну, ни дать ни взять Гамлет в знаменитой сцене с призраком: куда ведёшь, я дальше не пойду – бросаюсь к снимающему замок с велосипедной цепи впечатляющей наружности мóлодцу и, получив подтверждение, что – да, английский он знает немного, спрашиваю: «Как далеко этот чёртов Готический район?»

Взглянув на меня с явным любопытством, парниша задумывается на секунду, разворачивается в направлении, обратном тому, по которому мы чешем и, ещё подумав, говорит: «Вообще, это не близко». И начинает было объяснять, как до Готики добраться.

Но я радостно прерываю его, произношу «мучо грасиас», подхожу к изучающему карту Алёше и тут же вижу ссаживающее пассажиров такси. «Такси, - возвещаю я, - мы едем на такси»!

В машине возникает идея пошататься сначала по Рамблас и потом уже окунуться в Готику. Рамблас, людная, яркая, весёлая, мгновенно рассеивает набежавшую было тень не слишком удачного начала дня.

Нагулявшись и насмотревшись вдоволь, побродив по рядам ошеломляющего своим изобилием и многоцветьем рынка и прихватив с собой пакетик черешен, выходим, и я, упреждая намерение сверить маршрут по карте, подхожу к группке полицейских, которые охотно сообщают, что если пойти вот в этом направлении, то Готика будет по всем направлениям...

- Вы с карманами поосторожней, - говорит один, заглядывая в оттопыренный карман куртки, - это у вас телефон ведь?

Алёша, поблагодарив, перекладывает содержимое в карман нагрудный. И вот гуляем мы гуляем, петляем и глазеем, глазеем и петляем, сворачиваем то в один проулочек, то в другой, и вот на одной из улочек меня буквально пригвозждает к месту. И вижу, что и Алёша, ушедший чуть вперёд тоже остановился как вкопанный и смотрит на меня как бы ища ответа. А я буквально прирастаю к высоченной решётчатой ограде, идущей вдоль полоски мостовой и только и могу что пролепетать. «Что это, Боже мой, что это?»

Во-первых, улицы как таковой нет: череда домов оборвалась, и там, в глубине за оградой – блаженная тень, отбрасываемая высокими древними стенами и посреди – изысканное, тянущееся вверх дерево. От всей картины исходит невыражаемая словами благодать и, главное, я почти физически ощущаю, что там, внутри, в этом пространстве – иное время, и мы, хоть и не вошли в него, но из нынешнего точно вышли и застряли где-то между...

Я слышу идущих по улице пешеходов, вижу краем глаза, что они на мгновение задерживаются, глядя на нас, застывших истуканами, и, пожав плечами, продолжают свой путь. Сколько длилось это пребывание вне времени, сказать не берусь, но, похоже, больше положенного нам какая-то сила пребывать в состоянии транса не дала.

Я хватаюсь за аппарат и начинаю проделывать акробатические движения, протискивая ступню и руку с аппаратом за ограду, а Алёша, вижу, что-то разглядывает на выступе стены рядом с райским оазисом.

- Что там? - спрашиваю, передвигаясь вдоль изгороди с аппаратом. Слышу имя. Фредерик Марес. Скульптор и архитектор. И что усилиями этого Мареса сохранена и достроена городская стена поселения Барсино, бывшей колонии Римской империи, положившей начало нынешней Барселоне.

Забегая вперёд, скажу, что с этим именем мы столкнулись на другой день на площади Каталония, совсем неподалёку от отеля Пулитцер, в котором мы жили. А пока мы движемся дальше и выходим на весьма людную и оживлённую улочку. И, не пройдя и десяти шагов, я вдруг вижу, что Алёша внезапно остановился, вижу его перекошенное то ли гневом, то ли отвращением лицо, вижу, что он сбрасывает со своего правого плеча руку небольшого росточка человека, открываю было рот, чтобы сказать: ну, может, он хочет спросить тебя о чём-то, и вижу, как тут же Алёша хватается за руку другого, стоящего слева хмыря, и вырывает у него собственный бумажник, в котором наше всё.

Слышу, что Алёша что-то громко говорит, и, одновременно, слышу свой совершенно отвратительный вопль – воспроизвожу дословно: Fuck, fuck'n fuck, I'm gonna kill you, you fuck'n bastard.

То есть, мать перемать, я убью тебя, ублюдок.

Бросаемся за убегающими карманниками и тут же останавливаемся, понимая что не догнать, что их и след простыл.

Видя, как смертельно побледнел Алёша, начинаю трястись от страха и уговариваю остановиться, не идти дальше, передохнуть, прийти в себя. Отдышавшись, испив в забегаловке водицы и хлебнув кофе, двигаемся, уже не отклоняясь от маршрута, который прочертила нам на карте продавщица кафе.

Собор Св. Креста и Св. Евлалии умиротворил и успокоил. Время уже клонилось к вечеру, жара спала, решили медленно двигаться пешком к дому.

И когда уже совсем стемнело – вы будете смеяться – заблудились! Ни прохожих, ни магазинов, ничего! Жилые дома и бельё на балконах. Но нас уже было на испуг не взять, мы уже были стреляными воробьями. Поплутав немного, вышли на людную магистраль и, сев в такси, благополучно вернулись в наш Пулитцер.

Передохнув, отправились ночью гулять, ужинать, пить риюху и опять гулять. Но уже не отходя слишком далеко от отеля.

Барселона. Пикассо. Мир

В Музей Пикассо в Барселоне я пришла изрядно-таки вымотанная. День выдался по-летнему знойный, мы довольно долго бродили в районе Средневековья, ныряя из одной узенькой улочки в другую, выходя то на одну, то на другую мини-площадь, и я слишком поздно обнаружила, что башмаки, специально купленные для этой цели и по всем показателям должны быть удобными, никаких фенси-шменси, так натёрли мне ногу, точнее – правый башмак, что в конце дня я мрачно изрекла: во имя любви к искусству она окропила улицы Барселоны кровью. Ни дать, ни взять, и впрямь Средневековье!

Входя в музей, я облегчённо вздохнула: «Слава Богу, долгожданная прохлада!» - совершенно забыв, что в музеях, как правило, прохладно не бывает, а в этом было и вовсе душно.

Не успела я сделать и нескольких шагов, как ко мне подскочила свирепого вида девица и, указывая на висящий на плече аппарат, процедила тоном приказа: «Снимать нельзя»!

- Знаю, знаю, - примирительно ответила я. Но что-то в моём ответе вызвало у неё подозрение, и она стала буквально следовать за мной по пятам. Только я из одного зала в другой, и тут же возникает и она.

Ну, когда-нибудь ей эта игра надоест, подумала я, специально задержавшись в одном из залов дольше, чем на самом деле хотелось. Она и впрямь куда-то исчезла, а рядом со мной оказалось пленительной наружности женщина, которая, указав на мой аппарат, сказала

- Так жалею, что не взяла свой!

- А толку-то от моего? - ответила я. - За мной вот увязалась одна церберша. Уже пару безуспешных попыток делала.

- А я вас прикрою, - с готовностью ободрила меня она. - Они ведь это делают, чтобы покупали открытки и альбомы, так ведь? А не потому, что можно навредить картинам?

- Именно. Из чистой корысти! -подтвердила я, - А я и так, между прочим, покупаю. Но для меня ничто не может сравниться с добытой собственными трудами фотографии.

- Нет, нет, именно, - горячо поддержала она. - Я верю даже, что в них сохраняются какие-то эмоции от испытанных впечатлений!

И вот, под прикрытием напарницы, кое-что мне удалось-таки сделать. То есть удалось больше, но получились далеко не все: уж очень я нервничала, торопилась, руки дрожали, снимки к опубликованию не годятся.

По ходу «операции» мы с моей партнёршей делились впечатлениями от раннего и позднего Пикассо. И вообще – о модернизме как таковом

- А вы в Музей современного искусства собираетесь?

- Нет, не собираюсь, - ответила я.

- И я нет, - обрадовалась она.

- А в Мирю?

- В Мирю пойду. Интересно.

На том и расстались, пожелав друг другу удачи. В какой-то момент я, заведя вновь возникшую цербершу и решив, что нервы мои на исходе и больше попыток делать не буду, вошла в очередной зал, где обнаружила Алёшу, который указывая на стены, сплошь увешанные вариациями голубков, изрёк: «Это уже результат того, как Пабло сильно долбанул по мозгам Париж!» Вижу – и впрямь сплошные питички, и не в лучшем виде.

Тут-то и отдохну, говорю себе, снимаю тапочки и издаю блаженный вздох... Ага, как бы не так! Ко мне подлетает – честно, именно подлетает! – уже другая дама вполне солидного возраста и что-то свирепо мне говорит. Я ей в ответ, по-английски: «Да не собираюсь я снимать этих голубков!»

А она мне: «Наденьте туфли!»

- Туфли? – переспрашиваю, - Нет, ничего, я так постою

- Нельзя, - шипит она, - Босиком ходить нельзя!

- Нельзя так нельзя. Не буду ходить, - успокаиваю её, уже начиная свирепеть, - Я стоять буду.

- И стоять нельзя!

И тут я произношу с самой нежнейшей из всех возможных интонаций на чистейшем, на родном, на русском: «Какая же вы, однако, сволочь!» Причём – клянусь! – говорю именно «вы».

- Что? - переспрашивает она. И я, ещё ласковее:

- Сволочь, - говорю, и она, успокоенная, отходит.

Пусть кто-нибудь скажет мне после этого, что интонация не важна! Но туфли я всё-таки надела и напоследок, уже просто из спортивного азарта и не скрываясь, сняла винтовую лестницу.

А в Мирю я почти сразу поняла, что от соглядатаев надо будет уходить методом петляния по залам. Хотя и тут у меня нашлись сподвижники.

В одном из первых, не успела я поднести аппарат к глазам, ко мне подскочил совсем молоденький служитель. Я, однако, опередив его слова, улыбаясь, произнесла: «Ну что вы, мне и в голову не пришло бы нарушать запрет. Детишек хочу снять». А я и впрямь перекинулась парой фраз с милой женщиной, вокруг которой роилась стайка чудных деток.

- Ваши? – спрашиваю.

- Племяшки- отвечает.

- Не против? - говорю со значением, - я сниму их, на фоне картины? Она, мгновенно поняв, подмигнула:

- Конечно, что за вопрос! Они будут счастливы!

Ну и, как только юноша удалился, сняла сначала детишек, а потом, преспокойно, картину на другой стене.

И влюблённая парочка тоже прикрывала в одном из залов с готовностью.

Разбирая снимки, осталась довольна и собой, и Миро: мне явно сопутствовала удача. Напоследок: случится там побывать, не пожалейте времени и посмотрите фильм о нём. Заслуживает во всех смыслах: и в смысле полноты информации, и в смысле того, как элегантно и красиво снят.

Фото разместила специально вразброс. не забывайте щёлкать по картинкам, уважайте труд партизан...

Референдум в Барселоне

Конечно, можно считать это простым совпадением, а можно и не считать. Но судите сами: решаем совершенно внезапно в прошлом году лететь в Шотландию и попадаем в самый разгар политических баталий вокруг того, оставаться ли Шотландии частью Великобритании. И уже на месте, то и дело становимся свидетелями бурных дискуссий на улицах и даже пару раз «вовлекаемся».

Прилетаем в Барселону, и что бы вы думали? Через три дня, оказывается, решается судьба Каталонии, ратующей за отделение от Испании. Ну, как тут не задуматься? То-то!

Но шутки-шутками, а в воскресенье вопрос решился-таки, не то чтобы в пользу отделения (это был не референдум), но в парламенте большинство было завоевано именно сторонниками отделения. И именно их, судя по всему, было большинство среди собравшихся на площади перед Кафедральным собором (Собором Святого креста и Святой Евпатии), где по воскресеньям исполняется традиционный танец сардана, символ каталонской культуры.

В этот день здесь царил совершенно какое-то невысказанное веселье. И, без преувеличения, танцевала вся площадь, и стар, и млад, и явные танцоры-профессионалы, и просто каталонцы, которые в этот день вносили в этот танец особый смысл.

С аппаратом в руках приплясывала слегка и я, а каталонцы весьма охотно позировали. В этот день побывали в стольких местах (среди прочего – в музее Миро), что придя вечером в гостиницу, буквально рухнули без сил. Но передышка была недолгой: вечером мы двинулись в ресторан Четыре Кота, где в своё время бывали Пикассо и прочие знаменитости.

Так что – отдали, в некотором роде, дань памяти маэстро, заодно вкушая типично, как уверили нас, каталонские блюда.

Не обошлось без курьёза: развесёлой многолюдной компанией, явно англоязычной, праздновался День рождения, и по этому случаю развлекала их певичка, исполнявшая под гитару песни на английском. Довольно красивая девушка, довольно занудные песни.

И, кстати, ни супер-луны, ни её затмения, мы так и не увидели... Что поделаешь – нет в мире совершенства. Зато я слегка поспала.

Семья Саграда. Собор Гауди

Читала, видела тысячи репродукций, слышала миллион охов и ахов по поводу того, как это совершенно необходимо увидеть, что это – то, что принято называть MUST, то есть не увидеть нельзя, грех и пр. Начала испытывать даже лёгкое раздражение и чуть ли не протест – ну, не увижу, зато увижу что-то, что не входит в обязательную туристическую программу.

Но, устыдившись склонности к протестным поступкам, вчера ночью приняла решение: завтра первым делом – в Собор Гауди.

Заказали ночью билеты, чтобы не стоять в очереди, которые порой, если верить слухам, бывают чуть ли не двухчасовые. И вот к назначенному сроку доезжаем до Собора, входим и...

И одно скажу: было в моей жизни несколько настоящих потрясений, связанных с искусством, а это – ну, да, можно сказать: из разряда неожиданных.

Но вот пыталась найти, пусть не исчерпывающее название тому, что испытала сегодня, но хотя бы адекватное и – нет, даже приблизительного не отыскивается.

Скажу только, что уйти себя из Собора, просто заставила волевым усилием. Будто бы он, как магический лес, сомкнул свои ветви и не выпускал.

Не хотела помещать никаких фотографий из отснятых и оставленных. А потом подумала: наверное, это будет неправильно, нехорошо по отношению к Нему. Камеру-то наводила как жест признательности.

Севилья. Любовь с первого взгляда.

Значит так: в Севилью я влюбилась...

Вряд ли смогла бы чётко объяснить, почему именно вот так, сразу, пройдя каких-то там пару улочек... А наверное, как бывает с человеком: располагает к себе безоговорочно и мгновенно, испытываешь к нему симпатию и доверие и говоришь: этот человек – мой.

Вот так и с Севильей. И это при том, что день знойный и сильная жара, которую переносу с очень, очень, очень большим трудом.

Ну, стало быть, иду я зигзагами под палящим солнцем, перебегая с одной стороны на другую, чтобы попадать в тенёк и нацеливаясь аппаратом то на одно, то на другое. А направление задано: район вокруг Кафедрального собора и он сам.

И вот на площади Нуово меня просто пришиливают к асфальту шопеновские пассажи, те самые, которые столько раз завершали строки в конце первого акта цветаевского спектакля: «Вырванная из грудных глубин, молодость моя, иди – к другим!»

Ну, как такое может случиться, скажите мне, ну как? Ведь не просто так?

Понимаю, что музыка – живая, что не запись, что она происходит где-то совсем рядом. Ещё несколько шагов, и вижу раскрытый рояль, за которым сидит чернокожий юноша и вдохновенно изъясняется со стоящими вокруг людьми на языке Фредерика.

Отыграл, поклонился и почти мгновенно исчез. А вслед за этим присела к роялю милая девчушка, заиграла что-то совершенно испанское, и – откуда ни возьмись! – красавица-танцовщица.

Ага, думаю, стало быть, с Севильей у нас симпатия обоюдная – такие сюрпризики преподносит! Так-так... А впереди – вечер Фламенко.

Тихо млею от предвкушения и надеюсь поспать. Многодневный недосып плюс жара, как ни крути, не слишком способствуют внешнему виду А без него – какое, простите, фламенко?

Севилья. Беккер.

Весquet – или Беккер – назывался наш отель в Севилье. На его визитных карточках – портрет мужчины удивительно притягательной и благородной наружности. Надо будет погуглить, кто таков, подумала я и, отложив на потом, захлебнулась впечатлениями от города и начисто забыла.

Однако, через день «незнакомец» напомнил о себе довольно неожиданным образом: овальная наклейка с миниатюрной версией портрета скрепляла непечатый ролик туалетной бумаги в ванной комнате. Это ж надо, подумала я, какая странная форма почитания!

Узнала я, кто таков этот гордый гидальго, как временно окрестила его, когда, решив пренебречь справкой авторитетного справочника, утверждающего, что много времени посещение Музея изящных искусств Севильи не возьмёт и вообще, кроме местных художников ничем особым он не славится.

Произнеся ставшую расхожей фразу президента Рэйгана «Доверяй, но проверяй», отправилась поутру напрямик туда. И поняла, что Рони был-таки прав: проверять нужно, но при этом я никогда не остаюсь в проигрыше, если, проверяя, доверяю собственному нюху, чутью, интуиции – зовите как хотите, и вот именно тому самому импульсу, который ими диктуется.

И каких блаженных несколько часов мы там провели! Ну, во-первых, само здание Музея, его изысканная отделка, керамические панно, внутренние дворики-патио, в которых всё дышит таким покоем и гармонией, что мне пришла в голову мысль о том, что подобное чувство безмятежного блаженства, наверное, испытывают попадающие в Рай, если таковой имеется. И сама коллекция, хотя наверняка знатоки могу пожать плечами: ну: подумаешь, Мурильо или там Зурбаран.

Но я, знатоком не будучи и не претендуя таковым считаться, признаюсь: я их совсем не знала и многое из увиденного было для меня открытием.

А кроме того, началось всё не с них. Вошли мы в зал и меня прямо метнуло в противоположный конец к внушительного размера картине и, что бы вы думали? Смотрит на меня портрет не больше не меньше, как Эль Греко, никогда мной ранее не виденный, ранний, но уже в нём читается весь Эль Грековский непокой и смятение. Ну, думаю, какое счастье, и совсем не важно, впечатлит ли и всё остальное.

Но я тут, пожалуй, остановлюсь, и скажу только, что с этого момента (снимать не разрешают), я начала «партизанить», учуяв, что на этом радости не кончатся. Кое- что из снимков я здесь поставлю. А кончилось всё неожиданным ответом на вопрос: кто таков красавец, украшающий визитные карточки отеля и, как выяснилось, чьё имя он носит,

Встреча с ним произошла в этот же день, в одном из залов музея. Его зовут Густаво Адольфо Беккер, он – поэт, стоящий у истоков испанской поэзии XIX столетия, а портрет его – работа кисти Валериана Беккера, его брата.

На этом я ставлю точку и перехожу к нелёгкому делу: сделать осмысленный выбор отснятого. И, к слову сказать, пишу после большого трудового дня в Мадриде. С Севильей расставаться не хотелось...

Как там поётся? Я оставила в Севилье своё сердце...

Севилья. Последний день. Фламенко

Я заслуживаю упрёка в свой адрес, который в разных вариациях, и из моих собственных уст в том числе, часто звучит примерно так: «У тебя просто-таки семь пятниц на неделе!». Что означает: к планированию и способности следовать плану начисто лишена.

Вот и в Севилье, за день до отъезда, уже спустившись к консьержу подтвердить нашу просьбу – заказать билет на вечернее представление Фламенко – я, буквально в последнюю секунду, остановила его руку, набиравшую номер театра: «Нет, знаете, давайте не на сегодня, а на завтра вечером».

- В семь тридцать завтра? - переспросил он.

- Нет, завтра в 9 30.

- А почему ты решила завтра?

- Почему я решила завтра? - повторила я вопрос Алексея. - Не знаю. Как-то так будет хорошо. Последний вечер, заключительный штрих – аккорды фламенко. И – прощай прекрасная Андалузия!

И тут же ёкнуло внутри: а что, если заключительный аккорд окажется той самой ложкой дёгтя в бочке волшебного севильского мёда?

Не может быть! - пресекла я диалог с собой, и мы вышли из гостиницы.

Субботный день запомнился, как праздник света и звуков: ослепительное солнце, шум голосов буквально толпами идущих навстречу и явно настроенных на выходной лад севильцев, столики перед кафешками и пивными... Количество которых, кстати сказать, просто ошеломило: ну, просто Дублин какой-то и всё тут!

Шли мы в сторону Гвадалквивира, где, по контрасту с шумными улицами, всё выглядело почти идиллией: только изредка встречались прогуливающиеся парочки, да ещё – и в который раз в Севилье! – свадебная группка, которую, с радостного согласия участвующих, я тут же запечатлела.

Спустившись к воде – прошу обратить внимание, это было одной из задач дня! – достала монетку и сказав вслух: «Вот, Марианна Симкович, выполняю вашу просьбу», бросила монетку в сверкающий Гвадалквивир и вслед за этим сняла весёлую стайку пловцов по реке байдарок.

Упрекать меня можно в тысяче вещей, но не в неверности данному слову: держу!

Побродив бесцельно по городу и решив, что вечерняя программа у нас довольно напряжённая, мы вернулись в свой Беккер, уложили вещички и, слегка передохнув и почистив пёрышки, отправились ужинать в высмотренный двумя днями раньше в районе площади Нуово итальянский ресторанчик «Везувий».

Мы знали, что в половине восьмого народу не будет никакого, и нас это вполне устраивало (ужинают андалузцы после девяти).

Официант, нас обслуживавший, оказался неаполитанцем. Поделились своими впечатлениями от Неаполя и Сорренто. На мой вопрос, есть ли в ресторане граппа, долго

извиняясь и цокая языком, сказал, что нет, но зато, в качестве завершающего ужин жеста угостил нас леомончелло.

После ресторана, зная, что театр затерялся в лабиринте улочек и найти его ночью будет нелегко, стрельнули такси, которое нас и доставило к месту. Улочка оказалась такой узюхонькой, что не то, что двум машинам на ней не разминуться – не уместиться машине и пешеходу.

До начала действия оставалось ещё минут десять, внутрь пока не пускали, и мы подстроились к концу стоявшей вдоль стены очереди. И тут смотрю, чуть поодаль, стоит группка мужчин и время от времени то один, то другой выделяет какие-то странные па.

«Посмотри, какие красавцы!» - говорю Алёше. Смотрит.

- Да, - говорит без особого энтузиазма.

- Нет, правда, настаиваю я.

Всматривается.

- И впрямь! - соглашается.

- Как думаешь, - спрашиваю, - выпендриваются или – вдруг – здешние танцоры?

- Танцоры, - говорит, - там внутри работают, шоу ведь, по идее, не кончилось ещё. (Уже потом, замечу, поняли, что полчаса, как кончилось).

Я исподтишка наблюдаю за группкой и что-то заставляет меня взяться за аппарат. Сначала украдкой, а потом уже совершенно откровенно начинаю их снимать. Они, судя по всему, ничего против не имеют.

Фотосессию прервало открытие входных дверей, и я, усевшись на своё место и оглядевшись по сторонам, нацелилась аппаратом на одну из стен. Тут же ко мне подскочил официант и сообщил мне, что снимать категорически не разрешается.

- Но шоу ещё ведь не началось? - запротестовала я.

- Нельзя снимать ничего, - отрезал он.

«Как же, как же, - прорычала я сквозь зубы и, отложив камеру, настроила свой телефончик.

Конечно, снять мне почти ничего не удалось, хоть и встала из-за стола, и так и стояла, спрятавшись за колонну и прикрывая шарфом телефон. Не удалось, потому что, осатанев от потрясения и восторга, приплясывала, аплодировала, вопила как сумасшедшая, приводя в недоумение сидящую передо мной за длинным столом группу восточного вида людей – то ли корейцев, то ли вьетнамцев. На происходящее на сцене они особенно не реагировали и в основном были заняты едой.

Ну вот, они едят, а я потягиваю свою сангрию и умираю от счастья. В крошечный перерывчик успеваю сбегать наверх, чтобы проверить, получается ли у меня хоть что-то, и, понимая, что получается мало, смиряюсь. Тем более, что двух танцовщиков и музыканта, из тех, кого удалось снять ДО, сразу, как только участники действия вышли на сцену, опознала.

- Я за вами наблюдаю и кайфую, - обратилась ко мне наверху экзотичного вида женщина. - Я тоже дурею от Фламенко. В который раз уже смотрю и всё не устаю.

- А я – в первый.

- Да что вы? Вам повезло: шоу и впрямь классное! Вы куда дальше?

- В Мадрид, - говорю.

- О, давайте я дам вам адрес одного мадридского шоу!

Записываю. Забегая вперёд, скажу – нет, в Мадриде на фламенко не пошли. Решили унести – увезти с собой вот это первое и ошеломившее севильское зрелище.

Впечатление, от которого до сих пор внятно, словами, передать не могу. Задержались у театра ненадолго: надеялась увидеть танцовщика, не слишком молодого, совсем некрасивого и менее изящного, чем двое остальных, но совершенно гениального.

Подошли к нам двое ребят, один высокий и красивый, другой маленький, симпатичный и застенчивый. Оказалось – из Лос-Анджелеса. Разговорились. Путешествовали по Европе. Теперь – Испания. Обменялись впечатлениями.

Высокий, улыбнувшись:

- Я за вами следил всё время.

- Знаю, знаю, - говорю, - отличаюсь несдержанностью.

- Нет, говорит, - радовались, глядя на вас. - Вы тоже, знаете, создавали атмосферу!

На этом комплименте и расстались: время было позднее, ждать больше не могли.

Пренебрегли советами – ночами в безлюдных местах не очень-то ходить, и двинули пешком к гостинице вдоль реки: уж очень хотелось сделать ещё пару снимков на прощанье. И удалось-таки!

Символ Севильи – Ла Хиралда. В XII веке служила минаретом Большой мечети. В тринадцатом, после завоевания испанцами, стала колокольной Кафедральной собора.